

ЮРА
КАЦЪ

КНИГА
ПОКОЙНОГО
АВТОРА

Юра Кацъ

Книга покойного автора

«Водолей»

2018

УДК 84(2Рос=Рус)6
ББК 821.161.1

Каць Ю.

Книга покойного автора / Ю. Каць — «Водолей», 2018

ISBN 978-5-91763-437-1

Автор книги Юра Каць (Юрий Львович Каценельсон) родился в Москве; с 1991 г. живет в Израиле. Заглавие «Книга покойного автора» является лишь определением жанра и заимствовано у одного из его давнишних рассказов. Это книга наблюдений за постоянно уходящим поездом времени, действие которой разворачивается на улицах, площадях и бульварах, в парках, закоулках и проходняках Белокаменной эпохи Упадка.

УДК 84(2Рос=Рус)6

ББК 821.161.1

ISBN 978-5-91763-437-1

© Каць Ю., 2018

© Водолей, 2018

Содержание

Часть 1	6
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Юра Кацъ

Книга покойного автора

Записки фраера

*И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаяю,
И горько жалеюся, и горько слезы лью...*

Пушкин

Изо всех синонимов, как-то: растяпа, лузер, шлемазл, неудачник и т. п., – фраер предпочтительней, т. к. происходит от слова frei, что значит свобода (идиш). Живет по закону – а не «в законе» – и проигрывает по правилам; и никогда не упускает возможность что-нибудь упустить.

На зоне, где добро и зло перевернуты, титульная нация – урки – называют этим словом тех, кто попал туда случайно, а постоянную прописку имеют на «свободе» (которая в данном контексте почти ругательство).

В СССР, тоталитарной зоне гос. масштаба, этим словом называли интеллигентскую гниль, противопоставляя ее здоровой народной массе.

Трилогия сия, если свести ее определение к единому слову, есть, в широком смысле, книга ненависти.

Русской крестьянской, языческой душе – хоть бы и еврею, если только вырос среди православной культурной традиции – свойственно ненавидеть этот мир, в котором она живет и который знает, ради любви к миру «тому» – будущему, запредельному, которого не знает.

Этот, вульгаризированный под народное понимание, евангельский постулат есть та долго искомая русская идея, или правильнее, «русская мечта».

Часть 1

Дом «Россия»

Поэма

*Мне бы молодость повторить:
Я на лестницах новых зданий
Как мальчишка хочу скользить
По перилам воспоминаний!*

М. Светлов

НЕ ВСЯКИЙ дом в Москве имеет свое особое название, обычно – просто номер. Этот имел – «Россия». Он лежал на верхушке большого горба и был таким же длинным, как эта страна на карте, вытянувшись с востока на запад между прямой аллеей Сретенского бульвара и слегка кривоколенным, как бы в подпитии, Бобровым переулком.

Что это такое, Россия, толком не знали, т. к. историю учили в школе не по Ключевскому, а в Гимне СССР такого слова не было. Там пелось про какую-то «великую Русь» – что-то былинное, далекое и страшное, похожее на снежную рысь, и веяло холодом. И эта «ледяная пустыня, по которой ходил лихой человек», на карте похожая на схему говяжьей туши в мясном отделе, требовала еще подморозки, чтобы не протухла.

Всё, что внезапно врывается в жизнь, только кажется внезапным, а на самом деле не сейчас возникло, но долго вызревало, замешивалось, заквашивалось где-то за облаками. И как со вчерашнего вечера начинается библейский день (Творения), так и весну нам готовит прошедшая осень, загоняя под снег всё наше прошлогоднее дерьмо, чтобы весной зачем-то снова нам его предьявить.

После очередной московской волчьей зимы весна 62-го года была ошеломительна – долгожданная, как амнистия, и как амнистия же неожиданная, и от этого противоречия тревожная. «Она пугала видимостью счастья, как на войне пугает тишина».

В марте ветер утратил вдруг всю свою пронзительную колкость и уже не лез во все щели, но мягким крылом носился над городом, благословляя обмороженные наши души и перенося воздушным поцелуем легчайший вирус «высокой болезни» весеннего оттаивания. О зиме сразу и вспоминать перестали: нет в наших краях большего праздника, чем весенняя слякоть, ласково называемая в народе оттепелью.

Новое время пошло с ноября, с быстрого, можно даже сказать, торопливого, выноса из Мавзолея фараона в мундире, подселенного туда десять лет назад. Выносили ночью, потихому, опасаясь, как бы ни вернулся и ни навёл бы тут снова старый порядок, никуда, впрочем, пока и не думавший исчезать.

Собрались тогда все товарищи (почти все, кроме одного, ближайшего), те, что 10 лет назад торчали в почетном карауле. И рыдали на похоронах, и слёзы их были искренни. А потом вдруг все перепугались.

А от страха-то первейшим средством исстари был для России-матушки донос-батюшка. А тут всё решает скорость письма: главное – кто успеет раньше. Вот и пошли друг на друга строчить по привычке. Наперегонки. «Волки от испуга скушали друг друга».

А теперь вот, собравшись, коллегиально постановили со всем этим кошмаром покончить, пока не поздно. Убрать, то есть новую мумию с глаз долой, хватит старой, привычной.

У товарищей было языческое сознание: если христианин убежден, что мертвый может восстать только через погребение в земле, то эти уроды – наоборот, к закопанному относились спокойно, но трепетали перед забальзамированным чучелом тирана.

Осиротелый народ, однако, давно восстановился от бурных похорон и теперь сдавал отца народов в обычном своем безмолвии, загадочном и туповатом. Дедушка Ленин, только-только отгулявши свое славное Столетие и оставшись теперь в одиночестве, снова принял на штатскую, чахлую, набуханную формалином грудь всю непомерную тяжесть народной любви. Но это уже было не то – девственность мощей была уже взломана, и в могильном мраке внутренних покоев мавзолея засветилась маяком лампочка «выход».

После вскрытия гробницы сырая пелена накрыла с головой падкую до всякого смрада Москву, выпал торопливо мокрый, грязноватый снежок, все это осадил и растворил, а потом подморозило, и стало пусто и скользко. И одиноко, как в холодильнике морга по ночам.

Снега больше не было до самого Нового Года, когда он вдруг пошел. Как бы ни с того ни с сего, на фоне обманутых было ожиданий. Тридцать первого часам к пяти, когда уже стемнело. Шел монотонно и крупно, как-то похоронно, торжественно.

Снег ложился ровными слоями, изнутри выбеливая ночь, равномерно покрывая своим девственным, рыхлым телом всю «нашу прозу с ее безобразьем». Ибо Младенец с четырехзначным номером на груди уже родился и сейчас где-то на подходе, и к его появлению в городе должно быть чисто и светло.

Завороженный этой лубочной новогодней мистерией, я стоял у окна, «теребя занавески тюль», сливавшийся с белым кружевом снегопада, и совсем вроде бы забыл о времени. Но в одиннадцать в коридоре позвонил телефон.

Это была Полина Максимова; Аполлинария, как она себя именovala. Звала на дачу – Новый Год же как-никак. Там холодно и красиво, и всё в снегу, и трещит камин, и есть бутылка «Киндзмараули». И мы будем там одни, и никто не помешает, потому что за ночь нас укроет снег, и мы будем под ним вне зоны доступа. И у нас будет полная свобода действий, чего по причине стеснённости помещения дотеле ещё никогда не бывало. И у нее к тому же недавно был день рождения, и вчера она получила паспорт...

В общем, это недалеко, в Пахре, сорок минут на электричке с Курского вокзала. Они еще ходят. Она как раз там, на станции, звонит из автомата и сквозь падающий снег видит, как они ходят.

До этого она мне никогда сама не звонила, только я. Всегда заикаясь от страха и полной неуверенности, оттого что звонок мой некстати и вообще, что я уже давно надоел, и сейчас меня наконец-то погонят.

Пока не гнали. Наоборот, никогда никакого отказа. Ни по телефону, ни в очную. Я этого понять, опять же, не мог и оттого еще больше напрягался и робел. А тут вдруг и вообще – сама позвонила! Прекрасная Дама, спустилась ко мне по ступеням высокого Храма, и от этого необъяснимого атмосферного явления всё перемешалось в моей убогой головёнке, пристукнутой непосильной для нее любовью.

И как это у нее получается всё, просто и изящно: на станции, в падающем снегу, в беличьей – или кроличьей, я не силен был в этих горностаях – шубке, а я тут стою в коридоре в неудобной позе и придумываю, как бы понезаметнее сбежать от того, чего хочется больше всего на свете. И, одновременно, как бы протянуть подольше этот бессмысленный телефон, полный такого сладостного звука.

Надо ли говорить, как рвалась душа тут же броситься на зов, но что-то претило. Была в этой душе какая-то загогулина, где желание начинало буксовать и застревало. Ну, скажи ты одно слово: «Я хочу, чтобы ты приехал, я приказываю!» Поставь меня в безвыходное положение – и пробьешь эту пробку, и я тут же с восторгом вскочу и помчусь. Бурно и неостановимо,

как горный ручей. А так – весь этот шепот соблазнов, ложно робких и истинно подлых, только провоцирует в моей упертой душе тупое, строптивное сопротивление.

Так потел, чесал тыкву под шипящими взглядами соседей, которым всем вдруг понадобился телефон – к Новому году, что ли? – тискал бессмысленно липкими пальцами замусоленную трубку, похожую на кукольного пластмассового голыша, только черного, ковырял полыхающий прыщ на лбу и косолапо переминался с ноги на ногу, так как хотелось, конечно же, как всегда в подобных ситуациях, писать. Наконец, на другом конце провода прекратили мои мучения, кратко всё это неуклюжее мое сопение подытожив:

– Понимаю, холода испугался. Жаль! – и пошли сбитой морзянкой неумолимые короткие гудки.

К тому времени интеллигенция начинала понемногу как бы стесняться своей советской атрибуции, всё старалась как-нибудь от этого отойти, где можно. В результате погрузилось все в лицемерное какое-то смущение, и от этого было еще более тошно. Более всего это относилось, пожалуй, к государственным праздникам.

Изо всех советских праздников Новый Год раздражал особенно. Раздражал как раз тем самым лицемерием половинчатости, фальшивым как бы примирением с властью, которое они до сих пор подло называют «общественный консенсус». И которое тем уж пагубно, что не дает естественному процессу гниения разрушить до конца испорченный общественный организм, чтобы из него, как из того зерна евангельского, проросли новые всходы. Опять всё та же заморозка гнили, позволяющая смертельно больному обществу тянуть и тянуть зловонную свою жизнь, не искореняя гнойника.

А ведь оно между тем – общество-то человеческое – как и всякий отдельный человек содержит в своем совокупном брэнном теле бессмертную народную душу, и когда телу приходит время умирать, оно должно истлеть как можно быстрее, чтобы освободить душу и поменьше подвергать ее мучениям в оковах смерти. Все равно как змею взяли бы да и лишили бы линьки! И это происходило с обществом на моих глазах, и гадко было смотреть. Даже хамское ихнее Седьмое Ноября с откровенным, прямым беснованием и то выглядело почестнее как-то.

(И ведь услышал же как будто эти мои «вопияния в пустыне» коллективный народный разум, и извернулся, и придумал себе «старый новый год», без этого всего партийно-правительственного звона; правда, и без выходного дня для официально санкционированной опохмелки).

В новогоднюю ночь я всегда искал уединения, и, если дома собирались гости, уходил куда глаза глядят. Пересидеть, например, с деловым видом, как будто куда-то спешишь, где-нибудь в метро или в троллейбусе – там уж точно не услышишь этого наглого кремлевского набата, приводящего сентиментального совка в умиление почти религиозное (за неимением подлинного).

Может, это была у меня какая-то сублимация древнего инстинкта ухода в пустыню? Уединения, одиночества – что у всего потерянного народа, что у отдельной, потерянной души. Ведь библейская пустыня была не только дорогой, но и целью, и это последнее было даже первично: «пусти народ Мой на три дня пути, чтобы в пустыне сослужили Мне службу», так обратился Моисей к Фараону (тема возвращения в землю отцов всплыла позже, уже в пустыне). Пошли на богомолье, а пришли – в новую жизнь. Переродившись в пути.

Чуть позже, в уже наступившем гнилом шестьдесят втором, простуженным питерским горлом заезжего певца был пропет над Москвой пронзительный Романс о невыразимой, «необъяснимой» тоске Московского Рождественского странствия – именно Московского! – «сентиментального путешествия» по Москве. И пробудилась надежда – видно, сон ее тогда еще был неглубок – и сиротские, одинокие, отмороженные уши, потерявшиеся в беспорядках московского вечного базара, верившие в то, что жизнь, качнувшись однажды влево, качнется-таки

когда-нибудь и вправо, уже ловили этот хрустальный звон на морозе, и шли на него вслепую, как лунатики – на свою луну.

От телефонного разговора остались лишь короткие гудки в трубке, и в их капризном тоне был отзвук Полининого мультитонального голоса. Вспомнилось, что она сказала что-то про день Рождения, и с особой остротой захотелось поехать. Перезвонить, во всяком случае, было некуда. Был то есть какой-то коммутатор в Пахре, и можно было поэтапно, путем последовательных обращений к разным промежуточным телефонным барышням в конце концов до нее добраться, но у меня не было для этого ни достаточной сообразительности, ни необходимого занудства. Да и номера того коммутатора я не знал и не знал, как узнать. Поехал наобум, что для идиота всего проще и, как ему кажется, надежнее.

«Обум», однако, кончился на десятой минуте моего ж/д путешествия от Курского вокзала, когда на платформе «Сортировочная» – вероятно, от слова «сортир», что значит «выходить» – объявили, что поезд дальше не пойдет, и выходить таки придется (что мне, кстати говоря, было в тот момент очень даже кстати именно по причине привычного нам значения «сортир»). Поезду было пора в депо, чтобы машинисты и контролеры не пропустили, Боже упаси – они ведь тоже люди! – торжественный вход в их домашние КВНы, «Темпы» и «Рубины» новотрадиционного кремлевского поздравления. Под Рубиновые звёзды и Куранту – старинный, церемониально-куртуазный танец, которым полтыщи лет назад Возрождение вышагивало на свет из «египетской тьмы» Средневековья.

Просидел до четверти первого на платформе под тем волшебным, свежевывающим снегом, замерз в сосульку и с позором поехал обратно в Москву, благо возвращались-то электрички одна за другой почти без интервалов. Отогреваясь в пустом вагоне, я глядел на деревянные лавки, покрытые лаком теплого желтоватого цвета перезревающей кукурузы – больше-то было особо и не на что – и, от долгого глядения на деревяшку и только для того чтобы увидеть во сне Полину, заснул.

Мне снилось, что будто бы я уже давно с ней на даче, и уже выпили вино, и она куда-то вышла – может быть, дров нарубить, хоть и не женское это дело. Ну, тогда может просто пописать на свежий снежок, или это уж совсем неженское? И я – один и вглядываюсь в огонь, и вслушиваюсь в бодрый треск поленьев и заунывное шакалье пение дыма в трубе. И вот она входит. Уже без всегдашнего своего черного, гимназического фартука грубого сукна, и ее коричневое платье с белым воротничком расстёгнуто настолько, что можно понять, что под ним больше ничего нет, и я решительно его тяну и сдергиваю через голову, и...

На этом сон, как это водится у снов, самым подлым образом споткнулся и оборвался. Вероятно, это был не совсем сон, но какая-то греза из моей ближней памяти, а так как в жизни я никогда не видел ее без платья, то и образа соответствующего у памяти не было. Отсюда и провал сна – ему не за что было зацепиться, и видение рассыпалось. Я, однако, повеселел. Вспомнил, уже без обиды, как она сказала «холода испугался» и как я подумал тогда раздраженно в теплой моей квартире: «Ну при чем тут холод!» И вот поди ж ты, как в воду глядела! И я стал придумывать для нее романтический отчет об этой поездке, которую лучше бы описать одной строчкой из ленинградской песенки Клячкина: «вместо долгих странствий и доро-о-от ты купи на вокзале бутерброд».

Напридумал с три короба. И как повстречался в тамбуре со стаей вурдалаков, и как контролерша – костлявая старуха с вплетенным в жидкую косицу компостером – вошла в новогодний пустой вагон и выместила на мне весь свой не реализованный за день профессиональный садизм, а заодно, и все обиды юных лет. И еще что-то такое, ж/д-приключенческое. Однако рассказать ей обо всём этом так и не пришлось – она больше не звонила, а я никак не мог ее застать по телефону. Выслушивать же каждый раз издевку в голосе ее мамы – «А кто спрашивает? – А что, её нет? – Нет, а кто спрашивает? – Извините, я в другой раз...» – к концу каникул опротивело, и я отстал.

А когда случай представился, наконец, и мы снова увиделись в классе, всё было как-то уже не свежо и не интересно. В общем, после того телефонного разговора пошел обратный отсчет времени нашего романа – не докрутив одного витка до кульминации, сюжет вдруг сбился с темпа, сдулся и стал быстро терять высоту, ничего мне более не оставляя, кроме как в глупой, театральной позе гордого страдальца провожать глазами задние огни уходящего поезда.

Полина была признанной классной красавицей и полюсом эротического притяжения всего «мочившегося на стену», включая и непременно в таком контексте физкультурника, и всем нам давала первые уроки секса. Мастер-класс, можно сказать, в классе том исполняя одновременно обе роли – и мастера, и, вместе со всеми нами, ученицы. Красота ее была, быть может, и несколько вульгарна, но на фоне всей той нашей бледности убогой было не до вкусовых тонкостей – в пустыне-то и грязную воду пьют жадно, только наливай. А тут она к тому же вовсе и не грязная, только, может, немного повышенной минеральной жесткости.

Пуританский советский режим заботливо освободил нас от рабского подчинения плейбоевским образцам женской соблазнилочки, и то была, как это видно из сегодня, единственная, быть может, подлинная свобода тех времен; которую мы, конечно, не ценили и которую по неведению, как водится, проклинали. Представления об этом предмете находились в узком диапазоне от музейных холодно-мраморных Венер (которых, кстати, только тот может оценить по-настоящему, кто знает, каковы они на ощупь) до гипсовых парковых девушек-свеслом из наших пионерских верселей. И в ту шкалу укладывалось всё: и голливудски сочная Орлова, и умильные киноэкранные куколочки с вытарашенными глазками и писклявыми голосками, и казенно-элегантная Фурцева в киножурнале «Новости Дня», и благопристойная Уланова там же с целомудренно-голыми ногами в томительно-адском «Лебедином озере», которое телевизор показывал по траурным праздникам, деликатно перемежая с героически игривым «Щелкунчиком». (Эта дама, однако, всё время крутилась волчком, так что никак не улавливались ключевые атрибуты женской прелести; которыми, впрочем, она и так-то изобиловала не сильно.)

Полина же была живая и потому находилась вне этих всех сравнений – ей они не требовались и категорически к ней не подходили. Она обладала какой-то особой, природной грацией, естественным бесстыдством пластики и гортанных голосовых модуляций, и это сразу властно уводило в некую темную, сладостно-запретную зону того самого «бермудского треугольника», где пропадают самолеты и сходят с катушек мореплаватели. И который в детстве я выискивал в дедушкиной Большой Медицинской Энциклопедии, но был, как видно, на ложном пути.

В ней все время чувствовалось желание раздеться, выставить на показ эти груди торчком, уже готовые к своему «первому балу», а пока, в ожидании, подпрыгивавшие, как живые, под черным фартуком, в такт их носительнице, когда, раскрасневшись вся, она скакала на перемене у пинг-понгового стола под синкопированное щелканье целлулоидного шарика, и крохотный не по-уставному, опущенный ниже смелого, на три пуговицы «декольте», узелок крас ного галстука, дергался там, как поплавок на клёве, тычась, и стучась, как будто просясь внутрь, под платье, туда, где должно быть у девочек сердце. (Галстук тот злосчастный она, считая, что красное идет к ее зеленым, рысьим глазам, носила под шипение наших школьных фурий до самого десятого класса. Но как-то по-особому, чуть в сторону и набекрень; как, впрочем, и все, что она носила и вообще делала). И еще – свою крутую за счет талии попку и длинные, белые ноги с крепкими лодыжками и всё, в общем, то, что совершенно легально выкладывалось на всеобщее обозрение на пляже и частично на уроках физкультуры по вторникам и пятницам. На пляже, правда, нам встречаться не доводилось, но на физкультуре она была на удивление невыразительна. То ли из-за безобразных советских порток, своими грубыми резинками

«целомудрия», терзавших нимфеткам их нежнейшие ляжки, то ли просто в силу ее принципиальной неспортивности.

Я тогда оставил уже школьный баскетбол, весь переключившись на чуждые школе теннис и горные лыжи, но запах спортзала всё еще по-прежнему приятно волновал мои ноздри. Её же особый какой-то гламур никак с этой обстановкой не вязался. А так как единственная цель её общественной жизни была эротико-экологическая – или наоборот? – то есть очаровывать и, очаровывая, развращать (или оздоравливать?) окружающую среду, то уроки физкультуры, в виду их полной в этом смысле для нее нецелесообразности, она регулярно пропускала. Но тоже как-то величественно, по-царски, не опускаясь при этом до выдумывания каких-либо новых уважительных причин и нагло выставляя всякий раз – а это дважды в неделю! – одну и ту же, дежурную у девочек, ежемесячную, смущая тем самым румяного физкультурника и весело попирая и доводя до полного абсурда, принятый у нас тогда фальшивый полупроточный ритуал объяснений – хоть не верьте, хоть проверьте. Этими вызывающими пропусками, превращением всей этой «физкультуры» в некую контрсексуальную игру «неразведения», она нас как бы дразнила, обеспечивая себе минимальную дозу кокетства, необходимую всякой красотке для нормального самоощущения в обществе. И при этом жестко держала дистанцию: не дай Бог, например, назвать ее Полей – этой фамильярности не допускалось! Только полностью, чтобы царское достоинство не было ущемлено.

Она была тогда в самом разгуле того изумительного возрастного цветения, когда девочки дуреют от собственных своих ароматов. Это такое особое у них состояние, и оно требует от партнера точной интуиции и деликатной решительности действий, как у бармена или акушера. Но на роль героя был по недосмотру слепой судьбы избран я, начитавшийся разных «чистых Понедельников» и вынесший оттуда этот образ благородно напыщенного идиота, терпеливо и смиренно принимающего от своего предмета всю, положенную тут по каким-то неписаным правилам, динаму за одно лишь сомнительное вознаграждение в финале вспышкой страсти гибельной яркости.

Когда мы изнурительно-однообразно целовались на бульваре, в параднике, в вонючей раздевалке спортзала, прогуливая ее любимый урок, в школьном гардеробе среди шапок, пальто и галош, на овощной базе при сортировке гнилой картошки, в троллейбусе, ночующем прямо на улице у тротуара с опущенными рогами и легко открывающимися дверьми, в кабинке Чертова колеса в Парке культуры, куда ехали специально для этого на метро, во всех прочих местах нашего случайного или преднамеренного уединения, мне смутно хотелось чего-то большего, но я, даже при всех настойчивых сигналах снизу, отчетливо не осознавал, чего. Точнее, не мог включить сознание, чтобы это впустить, тогда как сознание среди всего этого хаотического полусекса никогда не должно отключаться до конца – ну хотя бы ночник в уголке оставлять! Она ждала, выразительно молча, а я всё медлил, медлил, как бы пародируя принца Гамлета, и даже, кажется, что-то ловил для себя в этом моральном мазохизме. А чуть бы поменьше гимназического, слащаво-прыщавого трепета и побольше мужского, здорового цинизма – и я бы, как шмель, впившись в лоно этого цветка, помог бы ему раскрыться до конца. Но дальше этого бессмысленного и безудержного, как русская любовь, взаимного слюнообмена мой секс не продвигался. Слюнтяй – он и в Африке слюнтяй, что с него взять!

При полном отсутствии соответствующего воспитания все мои представления о предмете нежном выходили из моих полудетских, неопределенных фантазий об этой малоизвестной стороне жизни. Мне казалось, что женщина, раздвигая ноги, открывает вход куда-то туда, откуда нет выхода – достойного, по крайней мере – только бегство. Что она впускает в самые свои заповедные глубины, и тем оказывает такое доверие, которого мне по мелкости душонки – а к этой части моей личности относился я много трезвее, чем к уму – никогда не оправдать.

И я не понимал, что в этой извечной любовной игре она вовсе не жертва, но сильная сторона. Что она тут основной игрок, и ведет танец. Что если некоему организму надобно

заполучить семя, то в этом кроется смысл его существования, древнейший инстинкт, который сильнее, может быть, и самого инстинкта жизни, так что даже перспектива девятимесячной болезни с высокой летальностью ее не останавливает. И что она бессознательно, прикрываясь для отвода глаз (от самой себя) тонкой простышкой флирта, тем временем лоном своим ловит семя, заманивает его к себе, попирая все условности девичьей чести, мобилизуя всё свое женское коварство, инстинктивно проделывая все необходимые приемы для извлечения семени и заманивая его внутрь своей утробы.

Это инстинкт, телесная память поколений – или, как теперь это называют, «генетическая», тогда-то это слово было табуировано – и что при этом лепечет ветреница-психея, никакого значения не имеет: как прилетела из ниоткуда, так в никуда и улетит. А что до самого подателя семени, то все его дела в исторической «обратной перспективе» – так это глубоко-мысленно трясти яйцами по будуарам, проливать безделия ради кровь и хаотически засирать окружающую среду. И вообще, он тут всё больше «на поддержках», выражаясь по-балетному; хотя и выходит часто совсем наоборот, и по-настоящему-то поддерживать приходится как раз его самого.

Я еще тогда по возрастному призыву стишки какие-то сочинял – так никак не мог заставить себя их записывать. С одной стороны, справедливо полагая, что все изреченное есть неизбежно ложь, не доверял бумаге, а с другой – наоборот, робел перед девственной белой грудью чистого листа и не считал себя вправе посягать на то, что при других обстоятельствах могло бы лечь под какое-нибудь более достойное перо; и ждет его теперь, быть может! Так же и здесь: трепетал перед совершенством, или, по крайней мере, тем, что им казалось, и страшился прикоснуться. То ли чтобы не спугнуть, то ли чтобы не осквернить. Вероятно, это были отголоски психики того трусливого раба из евангельской притчи, который, убоявшись ответственности за данный ему Хозяином талант серебра, тупо зарыл его в землю и в результате заслуженно его потерял.

(Поэтому писать систематически начал я непростительно поздно, и, написавши за 20 лет всё, что должен был, весь свой положенный юбилейный двухтомник, утратил весь литературный кураж, и то прежнее состояние «трусливого раба», хоть и на другом, итоговом уровне, но вернулось; не самое приятное состояние – что тогда, что теперь.)

Таким образом, вместо того, чтобы пустить в оборот этот свалившийся на меня невесть откуда «дар подруг и товаров» – самой первой из них! – взял да и схоронил его от греха подальше; от себя самого, то есть, чтобы на пустяки не разменять. И так же, как и тот евангельский пентюх, тоже был за трусость свою наказан изъятием дара и передачей его другому, тому, кто сумеет им распорядиться. Или, по крайней мере, не сробеет его взять. То есть первому попавшемуся – засаленному хаму с гадкой улыбкой, фарцовщику Мордовцеву, известному по Центру под оригинальной кликухой «Мордовец».

(Потом, когда время прошло, я узнал – сама рассказала – что заместитель тот был тогда взят то ли от обиды, а то ли просто для порядка. Ей казалось, что я не служу ей рыцарскую службу – которую она понимала чем-то вроде ненасильственного изнасилования – но на состоянии с холодной насмешкой анатомирую ее женскую неудовлетворенность.)

У нее было самосознание созревшего фрукта, который должен быть сорван и вкушен, пока не начал перезревать и увядать на ветке. Но когда психологическая гиперсексуальность сочетается с физиологической фригидностью, как это было в её случае, то становится похоже на абсурдный трагифарс: фрукт получается какой-то диетический, как бы восковой, сок его не содержит в себе питательного сахара, если и вообще имеется, и вкушать его должно было какое-то иное существо, созданное уже не в Пятницу, но в Седьмой день, когда Творец отдыхал, и по Саду шнырял Лукавый.

Душа её это всё понимала и уже тогда интуитивно искала иных радостей любви, чем те, хилые, что можно было ожидать от меня и мне подобных, и посылала мне сигналы, что всё

де бессмысленно, и чтобы я особенно не усердствовал: ее непростое сексуальное откровение предназначено не для меня и не мне адресовано. То был умный разговор наших душ на их особом языке, которого глупые головы не знают. Я же, в такие тонкости душевной жизни посвященный не слишком, бурно, со всей, присущей сентиментальным идиотам остротой переживал свою первую любовную неудачу. И допереживался-таки, в конце концов, даже до определенного терапевтического эффекта – в этом горе моем утонула параллельная обида, нанесенная мне в школе моими товарищами.

Вообще-то, вся эта история с исключением гораздо тяжелее, чем мною, переживалась моими родителями, с которыми мы жили хоть и отдельно, но, как получалось, одною жизнью, так как время от времени я что-нибудь такое выкидывал, что требовало их немедленного присутствия – как будто бы только для того, чтобы они там, у себя обо мне не забывали.

А постоянно пребывали они в то время в таком месте, где для въезда/выезда требовался специальный пропуск за подписью и с печатью – на недавней бериевской шарашке, дома конспиративно называемой Объектом или просто Командировкой.

Это где-то на Оке, в городке с таинственным, «пушкинским» названием Арзамас, которое тогда, как и само Учреждение, в домашней речи закодированное словом «Объект», находилось под смертельным секретом. Там они в передовых рядах научно-технических кадров трудовой советской интеллигенции во главе с самым молодым тогда в Академии академиком Сахаровым, помогали, чем могли, советскому фашизму, обзаведшемуся к тому времени ворованной атомной бомбой, создавать теперь свою собственную, водородную. Режимный статус шарашки делал нахождение там евреев в годы «космополитизма» вполне легитимным: лишь бы работали.

Дома они бывали редко. Да и бывать-то, собственно говоря, было, особенно, негде, так как комната, которую мы с дедушкой Абрамихалычем занимали, была у нас одна и даже не была перегороджена по тогдашней коммунальной моде ну хотя бы шкафом. Хотя таковой и имелся в наличии. Огромный, трёхстворчатый, красного дерева, в стиле ампир, с оправленным в бронзу венецианским зеркалом в человеческий рост, независимо и отстраненно стоявший у стены, загадочно мерцая по ночам. Ни на что, происходившее в комнате, он не влиял и в жизнь нашу высокомерно не вмешивался, но имел какую-то свою, зазеркальную, внутреннюю жизнь. Когда дверь открывали и туда проникали глаза, эта жизнь моментально исчезала, как исчезает тихо тьма, а когда закрывали, то благородное зеркало надежно хранило тайну.

Этот тайной внутренней жизни, тщательно сокрываемой внешним блеском наружных стен, так же, как стилем, пропорциями и общим смыслом конструкции, шкаф напоминал дом в целом, был как бы его уменьшенной моделью, спрятанной внутри. Как ковчег в храме. И если дом был похож на обречённо плывущий куда-то в океане «Титаник», то шкаф был как бы тем тайным посланием старой Европы Новому Свету, ради которого она и снарядила этот роковой рейс.

Повернуть шкаф поперек, перегородить длинную, как вагон, комнату, было невозможно, так как прямо напротив, посреди комнаты, стоял круглый дубовый стол. Подвинуть стол было тоже нельзя, потому что был он весьма тяжел и, казалось, врос в пол, а точнее вырос из него, и паркетины переплелись вокруг, как корневая система. И к тому же стоял тот стол под такого же, как и он, диаметра оранжевым абажуром с длинной бахромой, похожим на парашют с витыми шелковыми стропами. Вместе стол и абажур составляли единую аэростатическую конструкцию, которая плавно парашютировала нас, там сидевших, куда-то вниз, никто не хотел думать, куда.

Абажур висел на алебастровом крюке, венчающем массивную лепнину ромбической формы в центре потолка. Этот тяжелый центр растягивался изящным бордюрным узором, бегущим по периметру потолка, с рельефными амурами по углам; такими же, как и те, что сидели на наружных стенах, только поменьше раз в десять.

Когда-то, наверное, всё это благолепие имело какой-то смысл, и остатки того утраченного смысла еще можно было прочесть то здесь, то там. Теперь же усталые стены, потрескавшийся алебастр потолка и несорбившиеся наборные паркеты с аристократическим смирением, без скрипа и треска, терпели из последних старческих сил наш грубый советский быт, пока надежный купол абажура, смягчал нам, как мог, наше неуклонное падение.

Из двоих родителей приезжала регулярно только мама, и при этом всегда неожиданно, так как телефонные звонки были у нас тогда не просты, как и всё. Приезжала обычно на два дня в конце недели. Выходной день был только один, Воскресение, но одна до рога занимала четыре-пять часов, в одну только сторону. Она не укладывалась, и ей давали еще субботу в счёт сверхурочных – всё равно ведь в этот последний день недели, «предвыходной», и никому не работалось; потому его в конце концов и освободили вовсе. Кроме того, она играла с администрацией в преферанс и была там своя; еврейского-то вопроса в ихней конторе вообще не существовало, просто по условиям производства.

Но какой, однако, энергией эпоха пятилеток зарядила это поколение комсомолок! Ни война, ни ГУЛАГ нипочём: весь день за кульманом, а ночью пишут пулю. А по выходным, заместо рыбалок и посиделок, стирка, стряпня, покупки, дорога... Или, может, это-то и был отдых, каждая такая смена деятельности? Отдых на марше, так сказать. В общем, не жизнь, а сплошной «Марш энтузиастов» без остановки.

Иногда, правда, на шефа напал приступ беспричинного, немотивированного гуманизма, и он разрешал пустить кого-нибудь из «работников» в свой самолет на свободные места; только выгода была тут сомнительная: обычно самолет летел после работы и садился ночью в Быково, где генералу подавали к трапу большой черный «ЗИМ», и там уж никаких «свободных мест» для рабочих и трудящихся не было. Для этих существовала другая машина – с гордым и во всяком случае более вразумительным названием «Победа». Серая, поменьше и в шашечку и с зелёным огоньком. «Негров, китайцев и прочий народ в море качает другой пароход». Ну или трусить трусцой полтора км. на станцию с вещами и подарками к последней, вечно убегающей электричке.

Останавливалась она у своих родителей на Миуссах, деля визит между скрипуче крепким бревенчатым домом старокупеческого стиля и нашим псевдоампирным дворцом, изъеденным изнутри червоточиной коммунального быта. Там она ночевала и отводила душу со своими, тут – меняла белье, варила суп, стирала, воспитывала. Оставляла по себе на нашей коммунальной кухне гирлянду стиранных носков, кальсон и носовых платков, полный холодильник мяса, рыбы «навага» и всякой бакалеи для приходящей Клары Марковны. Морозить продукты было тогда не обязательно, так как они вследствие их натуральности благополучно переживали неделю в маленьком, простом холодильнике, а зимой между сдвоенными стеклами окна так и вообще настоящая морозилка получалась.

Обедали мы с мамой по воскресениям тоже в том аппетитном домике на Миуссах. Дедушка Абрам Михайлович с нами туда не ходил, так как там было не кошерно. Ходил вместо этого в галошах и шляпе в синагогу в Спасоглинищевском переулке, между Маросейкой и Солянкой. Он вообще маму со всей ее «одессой» недолюбливал. Относился к ним с тем традиционным недоверием, с каким относится благочестивый бобруйский «миснагед» к босякам с какой-нибудь Карантинной или Малой Арнаутской.

Тот дедушка, мамин, выпивал свои сто пятьдесят под картофельный суп с мозговой костью и еще сто ко второму – и насвистывал увертюру из Севильского, а этот, папин, верил в целебные свойства «Кагора» и при слове «опера» хватался за стетоскоп, так как слово это означало для него кресло дежурного врача в 12 ряду, у прохода, в партере Большого театра. Театр же, посещаемый им вне рабочих обязанностей, был драматический, а именно МХАТ, поскольку был среди его пациентов администратор того театра, один из воротил московского серого рынка в пенсне под Станиславского. Тогда как другой дедушка, мамин, который был

адвокатом и по роду этой своей деятельности тоже не жаловался на недостаток связей в сфере театрального обслуживания населения, тяготел к музыкальным жанрам и более всего к оперетте, еще недавно, в пятидесятых, чрезвычайно популярной. И тот, и другой дедушки прилично зарабатывали за счет частной практики, но хороших денег ни в том, ни в этом доме не было. Этот их постоянно терял: подставлял карманникам или просто ронял из кармана, доставая носовой платок, проигрывался в преферанс – студенческая слабость со времен землячества в Цюрихе. Тот тоже имел слабость от молодых лет и Одессы-мамы – ипподром. Играл по мелочи, символически, «только ради лошадок», но так, однако, этим раздражая бабу, что она спасала то, что «чудом уцелело», отправляя в Одессу, сестре, которая бесконечно строила там дачу на Фонтане.

Полина жила в коммунальной квартире на другой стороне дома, выходившей на бульвар, в одной, вроде даже и не очень большой, перегородженной комнате с матерью, отчимом – бравым майором, героем войны, отчисленным за пьянство из Бронетанковой академии им. Фрунзе, и полуторогодовалым братцем, которого ей приходилось нянчить, когда мать была на дежурстве. Стирала в корыте и была хороша в пару, откидывая тылом мыльной кисти волосы со лба и ловко отбиваясь от дежурных приставаний пьяного майора. А дача в пайковом поселке на речке «Пахре», на которую я был зван в ту новогоднюю ночь, принадлежала ее бывшему отцу, какому-то партийному куратору Совписа, чиновнику, хоть и номенклатурному, но вполне мизерабельной наружности, в галошах и с портфелем под мышкой, Дмитрию Павловичу Максимову, когда-то, судя по всему, ее нежно любившему; может, даже и немножко слишком. Теперь он жил уже с новой семьей и Полину опекал извне, что, казалось, вполне ее устраивало.

В тот день он отдал ей ключ от дачи, не нужной ему зимой, чтобы позлить свою бывшую жену, её мать, 5 лет назад сбежавшую от него с лихим танкистом, а заодно и лишний раз протопить помещение; ее руками к тому же. Для той же цели, позлить то есть, он отправлял Полину прошлым летом одну – ну не совсем, с дуэньей в образе своей секретарши – в тогда еще не слишком известный в широких кругах Коктебель.

Хуторок в степи там, где она встречается с морем, пышно называемый Домом Творчества Писателей «Коктебель» («пис-дом», в местном просторечии), у писательских жен (в том же просторечии – «жописов») и детей (пис-дети), среди которых особую группу составляли писательские дочери (пис-дочки) как основного контингента творческого отдыха особым спросом не пользовался, и потому путевка туда была дешевле и доступнее, чем на другие, более фешенебельные и пышные дачи Литфонда (пис-дачи) в роде «Гурзуфа» или «Гагры». (Кстати, и принадлежал данный пис-дом не советским писателям (ССП), но Союзу Украинских Писменников (СУП))

То, что Коктебель – место историческое, и что там стоял дом старого, полузабытого тогда поэта, одной из ключевых фигур литературной жизни Кумачового века (вошедший в него прямо из Серебряного) – это привлекало тогда лишь немногих, и Дмитрий Павлович был не из их числа. Но тем не менее тоже, как тот поп на базаре, погнался, как видно, «за дешевизной»: и дочке угодить, и мощну при этом растрасти не очень. Даже на вторую путевку для своей перезрелой секретарши разошелся, чтобы койку вторую в комнате занять. Кому же тот отдых его дочки обошелся-таки дорого, так это мне – исключением из школы в выпускном классе. Какая связь? А вот же самая прямая!

В тот год, в один из первых школьных дней после новогодних каникул в кабинете завуча и парторга, заслуженной учительницы и члена бюро райкома, апоплексической Амалии Семёновны Медведовской сидела агрессивно встревоженная Полина мать и рассказывала. В присутствии нашей с Полиной классной дамы, которая ее туда и привела.

Мамаша рассказывала сбивчиво и торопливо, как будто вывернула на стол кошелку и безнадежно перебирала содержимое в поисках чего-то такого, чего там заведомо нет. Что-де

дочь «как будто подменили», что она-де потеряла всякую домашнюю ответственность, устраняется, уклоняется, отдаляется, и грубит, и оскорбляет отчима, советского офицера и героя войны, который к ней со всей душой, и вообще, куда же смотрит комсомол («и школа, бля, и школа, бля, и школа», как пел тот самый «Коктебель»), и, неровен час... прости Господи!

В доказательство она, всплакнув, представила некий, изнуренный перегибами двойной тетрадный листок, обнаруженный под подушкой ее дочери, пока та пребывала на папиной даче в новогоднюю ночь, отмечая там всенародный праздник – со мною якобы, а то как же! – пренебрегши теплом семейного очага и телеобращением вождя.

На листке том было гимназическим, косым почерком переписано стихотворение того самого поэта Волошина, возле дома которого расположился тот самый писательский дом отдыха – или «Творчества», как они его называли, – где девочка провела с казенной дуэньей прошедшее лето; и с толком, как оказалось. Я же, по той же логике, что и в истории с Новым годом, тоже, разумеется, должен был с ней там в то время находиться.

И что удивительно – как в воду глядели: стихотворение, и правда, сразу по возвращении Полины оказалось у меня. Что вполне естественно, так как Коктебель тот был мне как дом родной и еще до поездки загружен был в ее неформатное сознание моими рассказами, по которым она там, по ее словам, ходила, как по путеводителю. Для меня-то и переписывала. А как ещё? Искать такие тексты в библиотеках в голову советскую в те времена не приходило – если там и можно было что найти, то только случайно.

В Коктебель меня возила каждый август моя мама, которая много слышала об этом странном местечке караимов и крымских татар от своих «арзамасцев». Первый раз я попал туда в восьмилетнем возрасте. Она тогда заехала за мной к бабкиной сестре на недостроенную дачу в Одессу, куда меня отправили после первой смены пионерлагеря, и мы сели на белый пароход «Россия», обходивший побережье от Одессы до Батуми и сошли в Феодосии – оттуда близко, полчаса на такси.

На пароходе было скучно. Мама весь день играла под тентом в преферанс или пропадала в биллиардной, а я мок в бассейне и беседовал с разными бездельниками на палубе. Иногда они угощали меня мороженым, и странно – как это я ни разу не попал на серьёзного педофила (на несерьезного попадал, наверняка, но по причине его несерьезности этого не замечал). А по вечерам она играла на рояле в салоне и танцевала в ресторане с батумскими спекулянтами, сочинскими игроками и прочим сомнительным элементом, собиравшимся на таких рейсах. Тут уж я был всегда при ней, как пудель на веревочке.

По расписанию остановки в Феодосии не было, там и причала-то не было для таких судов, но по договоренности с пассажирским помощником капитана, чей китель был белее облаков и буруна на волне от адмиральского катера, тот самый катер подошел, и нас туда спустили. Просто по дружбе – «здесь остановки нет, а мне пожалуйста» – в те оттепельные времена многое происходило «по дружбе».

Катер, правда, был не совсем адмиральский, грязноват вблизи, но это не портило общего впечатления, а только подчеркивало белизну нашего отдаляющегося в синеву теплохода, и всего, что на нем – от капитанской фуражки до салфеток в ресторане. После мы стали ездить до Феодосии на поезде, все потные и перепачканные паровозной гарью.

Мы останавливались всегда в одном и том же доме у базара, куда пис-дом выходил задами; это если «передами» считать пляж и домик Волошина. Мама договорилась, и нам выдали пропуск, который пропускал нас на территорию, где мы могли не только насквозь проходить к морю, но и пользоваться заодно пис-пляжами – мужским и женским, разделенными дощатым, голубым забором с множественными щелями и дырками.

У дырок тех и щелей члены Совписа, в голом, как и положено членам, виде, проводили свои лучшие творческие часы, пока за перегородкой их жены – равно как и чужие – упиваясь

блаженством законного сего бесстыдства, погружали тела в оздоровительные, как тогда считалось, солнечные ванны.

Как-то раз я увидел на песке алюминиевую каню с веслом, и никого вокруг. Зачем-то столкнул в воду, вероятно, потому что лодка и так была на полкорпуса в воде и как бы сама просилась. Но как только я туда сдуру запрыгнул, так сразу понял вдруг, что весло каню – не мой снаряд. Лодка, почуяв неловкого капитана, стала брыкаться и, в конце концов, перевернулась, и я, выбиваясь из сил, дотолкал ее кое-как до берега, который оказался женским пляжем, где этот наглый десант был воспринят с вялым оживлением.

Мама, в которой южная раскрепощенность была задавлена каким-то диким пуританством столичного мещанства, узнав об инциденте, была до крайности смущена. Вероятно, испугалась, что в поведении моем очевидцы заподозрили некий умысел, сексуальную агрессию двенадцати- или тринадцатилетнего недоросля. И что это каким-то образом дойдет до школы – вера в тоталитарность доноса была сильнее всех прочих вер. Оставшиеся дни она больше не оставляла меня на волю случая, но упорно, отказавшись от бильярда, таскала меня по бухтам да по горам. И это отнимало столько времени и сил, что было уж не до пляжа с голыми тетками.

Кроме жописов, наличествовали и также пис-дети. Я с ними там бегал, и мне это казалось спокойнее, чем с моей пролетарской школьной компанией. Мама говорила, что среди сов. писателей, при всей их сволочной жизни, приличные люди встречаются все-таки чаще, чем в любой другой среде: членов Совписа уважали, а пролетариата побаивались. И что с теми детишками можно бегать с меньшим опасением антисемитских подножек – их хотя бы дома этому не учат, утешала она сама себя.

(Впоследствии у меня было много возможностей оценить её правоту: Союз Советских Писателей, во всяком случае, его Московское отделение, был при всей своей лицемерной верноподданности злобным гадюшником здоровой антисоветчины).

Помимо базара, позади Дома Писателей, через шоссе располагался профсоюзный Дом Отдыха «Голубой Залив». Там отдыхали по бесплатным путевкам шахтеры из Кузбасса и металлурги из Кривого Рога – или, может быть, наоборот? – и была танцверанда с аккордеоном и массовиком-затейником. Писатели, что помоложе, бегали туда шупать крутобоких крымских девушек, которые собирались там ежевечерне и в полном составе, потому что в пис-дом посторонних бдительно не пропускали. Да и танцев своих там не было, а одни только скучные посиделки жеманных жописов после ужина на балюстраде.

Коренному же населению «Голубого Залива», как шахтерам, так и металлургам, было категорически не до танцев. Они начинали обычно в столовой за обедом, потом продолжали на пляже, на жаре, потом каким-то чудом доползали, как из разведки, с потерями, обратно до своих коек, что в голубых фанерных корпусах за шоссе, и спали с перерывами попить водички уже до завтрашнего обеда. А тогда уж опохмелялись из магазинчика по соседству, и – всё по новой.

Таким образом, по вечерам на их танцверанде пришлые, местные крымские девочки – особая порода степных кобылиц – были вакантны для плодотворных (в самом прямом смысле) контактов с пришлыми же – к тому же и вообще приезжими – отпрысками столичной творческой интеллигенции.

Сразу за пис-домом лежал большой пустырь, заросший бурьяном и два весьма примечательных заведения по краям: татарская чебуречная с первыми просочившимися на родину татарами и, на дальнем краю, ресторан, тоже мастодонт из ушедшей эпохи фокстрота.

Чебуречная размещалась в дощатом сарае, пестро, доска за доской, выкрашенном в лазурь, зеленый и желтый, и была смачным напоминанием о том самом кишении тут лет еще двадцать-тридцать назад татарской жизни, по которому тосковал еще Волошин; и как раз в тех самых, вышеупомянутых стихах о Доме. Никакие другие, кстати, и не были мне тогда

известны. Всё проясняется в сравнении! Чебуреки, во всяком случае, были изумительные, и аромат кипящего бараньего жира работал как торговый бренд того пустыря и свалки.

А навстречу, с другого конца пустыря лилось со скрипок и саксофонов ресторанное танго, и там неизвестно откуда взявшиеся дамы в шляпках с вуалями и кавалеры в вечерних костюмах пили шампанское «Брют» из Потемкинских погребов в Новом Свете, что сразу за Судаком, и густую крымскую «Мадеру», производимую в соседней Щебетовке, где тоже был старорежимный винзавод.

От ресторана начиналась дорога в Тихую Бухту, отгороженную от залива крутым глиняным мысом Хамелеон, названным так за свою ящерицеобразную форму и за постоянную цветочную мимикрию под общий фон берега. В начале дороги стоял алебастровый олень с ветвистыми рогами, образец советской курортной архитектуры.

Кроме легендарного и «краеугольного» для этого места волошинского Дома, в поселке было несколько дач, принадлежавших знаковым по тем временам фигурам от литературы и искусства. Игорь Моисеев, Мариэтта Шагинян, знаменитый летчик-испытатель Анохин без глаза из Киева. Особый интерес вызывала дача генерал-академика Микулина.

Я застал эту дачу еще не заселенной. Просто стоял большой пустой дом на холме над самым морем, над дорогой в Бухты – мимо не пройдешь, и все спрашивали: кто же это такой крутой, что тут построился? Генерал присылал туда гостей – разных шикарных дам не слишком тяжелого поведения, а сам при этом блистательно отсутствовал, и с подмосковной своей Николиной Горы переписывался с гостями телеграммами «молния» по срочному тарифу (вероятно, по цеховскому каналу, т. к. в кабинеты вход был «без стука»). Он тогда изобрел ионизатор воздуха для продления жизни своих коллег-пенсионеров и активно рекламировал его по ТВ, тогда как вся большая авиация продолжала летать на его моторах – и Туполев и шмуполев, и Ильюшин, и Микоян (и даже, прости Господи, Гуревич). И примкнувший к ним Антонов из братского Киева.

На пляже я его не помню, но часто, проходя мимо его дома по дороге в бухты Кара-Дага, видел на холме – забора там тогда не было – концептуально-мощную фигуру лысого старика перед телескопом на штативе. Как Наполеон изучает в подзорную трубу свой будущий плацдарм, так генерал после утренней пробежки натошак разглядывал женский пис-пляж, вылавливая объективом объекты, достойные изучения.

Помню, как одна его гостевых дамочек, светская львица, как почему-то теперь называют эту породу кошек, из Киева на пис-пляже – не женском, общем, рассеянно почесывая себе трусы, сообщила что Дау (Л. Д. Ландау) пригласил ее ужинать в ресторан (было тогда в Коктебеле и такое, по дороге в Мертвую Бухту), и она теперь в замешательстве: с одной стороны откакать было бы неучтиво, а с другой, хозяин ее апартаментов, где она пребывала с дочкой-нимфеткой, поставил условием, чтобы никаких других академиков – а других, кроме Ландау, там вроде и не было – уж лучше хоть писатели; если на худой конец. Лев Давидыч, сидевший поблизости на песке в своей линялой синей ковбойке, из-под которой торчали тощие коленки и на которой сиротливо болталась всегдашняя звезда Героя Труда – в противовес иконостасу медных побрякушек на легендарном фартуке Микулина, сказал со своей смущенной полуулыбкой, что когда он встречает этого персонажа в коридоре Академии, то готов заскочить в первую же дверь, чтобы только избежать рукопожатия, очень опасаясь при этом, как бы это не оказалась дверь 1-го Отдела. Успокаивало то, что та дверь всегда была заперта и отпиралась только ради стука, чего тщедушный академик не издавал.

Это было два полюса коктебельской светской жизни: горный орел, эксцентричный генерал и не менее эксцентричный, только по-другому, застенчивый интеллеktуал, занимавший ординарную комнату в этом степном Пис-доме по академической квоте. Оба – большие жизнелюбы.

Определенным контрапунктом вольготному Крыму с его теплым морем и горячей степью были молчаливые сосны и дюны Прибалтики, где дедушка мой по папе Абрам Михайлыч проводил лето врачом в генеральском санатории. В июле там было самое теплое время, пик сезона, и съезжалась московская и питерская театральная знать, среди которой и некоторые его постоянные пациенты. Особенно народные артисты – генералы уважали это сословие и охотно предоставляли им льготные путёвки. Дедушка занимал там служебный коттедж, и, когда меня к нему присылали перед августом и Коктебелем, он встречал меня в Риге на вокзале.

В первый мой приезд конный извозчик в картузе и гольфах вёз нас в Санаторий на бричке, в последний там уже сверкал огнями новый, по тем временам и по нашим понятиям архитектурно великолепный Курзал в Дзинтари, впоследствии «Юрмала», стал бегать туда слушать симфоническую музыку (возможно название это – курзал – тут не совсем точно, но так его называли все и даже в объявлениях так писали). До того бегали с ребятами по богатым дачам подглядывать за домашними концертами и прочими всякими дачными безобразиями артистической богемы.

Дачи те были традиционно открыты нараспашку, чего нельзя сказать о нынешнем Курзале. Но там зато в перерыве хорошие господа выходили наружу, покурить, и контрамарки, которые давали им билетерши, все были наши; им-то зачем, у них и так не спрашивали. А первое отделение можно было вполне комфортно, и даже, в отличие от дач, почти законно, независимо сидеть на стене, не доходившей до крыши метра на полтора, и смотреть оттуда на московский филармонический оркестр с Кондрашиным.

Оба – и оркестр, и его дирижер – работали до того на I Конкурсе Чайковского, «открыли» там Клиберна и стали после этого особенно популярны среди меломанов-геев и прочей всякой изящной общественности. Теперь же они срывали цветы этой славы, отдыхая там, на взморье перед августовскими шопинговыми гастролями в Америке, и немножко, для поддержания формы, играя по вечерам; совмещая приятное с полезным, т. с.

Оркестранты ходили днем на холодный пляж, более привыкший к степенным, массовым вечерним променадам в пледах и пальто, чем к визгу торопливых, куцых дневных плесканий голых тел. А по вечерам – Моцарт, Бетховен, Малер, недавно разрешенный к употреблению Рахманинов в Курзале.

(Хиндемита, Шёнберга, Бартока и прочий не исполняемый тогда модерн они не играли. Это звучало в Гнесинском Зале в исполнении камерного «Мадригала» под эгидой великой Юдиной, и меня туда водила мама. Весь московский гламур – в общем, те же самые, что и в Дзинтари – топтался там в фойе, переместившись из-за столиков кафе «Националь», чтобы в перерыве между вечерним кофе с яблочным паем и ночной осетриной с грибами под коньяк принять нечто еще и в уши. Нечто совершенно новое, необычное, додекафонное. Большинство, однако, составляла другая публика с немедийной наружностью и в стоптанных башмаках, но эти по детской глупости моей казались мне будничными и были мало интересны – а среди них-то как раз таки и попадались персонажи! После гардероба, впрочем, все это благополучно перемешивалось, утверждая демократизм культурных тусовок классового общества той эпохи).

Переписанное от руки стихотворение, найденное под подушкой у десятиклассницы – само по себе еще не криминал, но если усмотреть тут мою зловещую тень, то сразу начинает под эту квалификацию подходить; для наших «класных дам», по крайней мере.

В общем, всё это обилие дач и поэтов – да еще и меня, проклятого, в придачу! – вызывало в незамутненных никакими сомнениями душах этих двух тружениц Просвещения, директора школы и ее парторга, эрекцию ненависти, неукротимую, как утренняя рвота беременных.

Я тех стихов до того не читал и вообще не очень-то задумывался о том, что есть поэзия и за пределами «Облака в штанах», которому и сам в своих потугах подражал безбожно. А тут

я был потрясен, как много можно сказать в классической простоте. Не повышая голоса и не заламывая рук, без лишнего звона и ударных поэтических эффектов.

Открывалось широко, как дом гостеприимный, распахивая на все стороны свои окна и двери, впуская море и степь, и размеренным шагом классического пятистопа вело в глубину помещений и дальше, насквозь, по морским волнам в глубину истории. Торжественно, анданте. И сладко было вдыхать аромат простых и ясных, как степной, летний полдень, слов:

Дверь отперта. Переступи порог. / Мой дом открыт навстречу всех дорог.

Сразу стиху задается ритм дыхания.

Дом тот – башня, выстроенная поэтом на берегу лазурного залива между морем, степью и скалисто-лесистой горной стеной. Линия горизонта соединяет запад и восток, замыкая вертикальный, черный контур Кара-Дага с юго-запада и хорошо обработанную солнцем и ветрами волнисто-морщинистую шкуру степи с востока.

Дом открыт, чтобы дать возможность всем звукам, запахам и краскам мира входить в него без стука. Он всё приемлет и вмещает, как вселенная. В его «прохладных кельях, беленных известкой, / вздыхает ветер, живет глухой раскат / волны, взмывающей на берег плоский, / полынный дух и жесткий треск цикад».

И дом тоже, как и залив, замкнут на свою собственную линию горизонта, охватывающую все культурное наполнение его стен, весь его внутренний космос. И эти два пространства, внутреннее, что среди картин и книг, и мраморов, и гипсов, и внешнее, что над степью и заливом, суть сообщающиеся сосуды, между которыми постоянно идет обмен их культурным содержимым. И населяющие дом души, открывающиеся в оба эти пространства – соединительные трубы этого обмена – русская интеллигенция, своим мятежным духом, покаянной рефлексией и мучительным осознанием исторической вины искупающая великое, невыносимое безмолвие своего народа.

Здесь, в этих «складках моря и земли, / людских культур не просыхала плесень – / простор столетий был для жизни тесен, / покамест мы, Россия, не пришли...

Осиротелые зияют сакли, / по скатам выкорчеваны сады. / Народ ушел. Источники иссякли. / Нет в море рыб. В фонтанах нет воды».

«Народ ушел» – это не тогда, это позже. Точнее, его ушли. Тут прямое пророчество об изгнании крымских татар через 10 лет после смерти поэта. И хоть речь о делах вроде бы прошлых, «за полтора года лет – с Екатерины», но в том и состоит ясновидение пророка, что будущее перед его глазами ясно, как прошлое. И потому так точно выстроен образно-смысловый ряд: народ, источники как образ, привязанный к народу, рыбы как древнейший символ размножения народа, вода – первоматерия и среда зарождения жизни! Обо всех этих сложностях я тогда не задумывался, но чувал, что всё тут – не случайно и не только для наполнения строки. И так величественно и страшно, что то простое объяснение, что якобы воду в фонтанах выпили жида, а заодно и сожрали в море рыб – такое тут и в голову не приходило.

И возмездие:

«Но тени тех, кого здесь звал Улисс, / опять вином и кровью напились / в недавние трагические годы. / Усобица, и голод, и война, / крестя мечом и пламенем народы, / весь древний Ужас подняли со дна».

И когда кровавая волна революции выплескивается, шипя, на открытую, незащищенную равнину степи, дом поэта, оставаясь открытым, становится естественным, как бухта среди скал, как грот, убежищем для всех «скрывавшихся от петли и расстрела. / И красный вождь, и белый офицер, / фанатики непримиримых вер, / искали здесь под кровлею поэта / убежища, защиты и совета».

И эта доверчивая открытость перед людьми и мужественное смирение перед судьбой, сообщает дому чудесную богоспасаемость, и дает его хозяину, еще недавно читавшему «в кровавых списках собственное имя» скромное, но достойное воздаяние – жизнь:

«Но в эти дни доносов и тревог / счастливый жребий дом мой не оставил: / ни власть не отняла, ни враг не сжег, / не предал друг, грабитель не ограбил».

И – последний приют спасения – библиотека! И это тоже дом – дом в доме, и он населен огромными массами культуры, спрессованными до строгих полиграфических объемов, доступных глазу и руке:

«Но полки книг возносятся стеной. / Тут по ночам беседуют со мной / историки, поэты, богословы».

И мощный заключительный аккорд, соразмерный вступлению – там дом, открывающий окна и двери пространству, здесь «весь трепет жизни всех веков и рас», в этот дом вошедший и в нем с того момента живущий.

Для цитаты длинновато, пожалуй, но как, где сократишь! Я читал, и в душу легко и естественно текли такие базовые понятия природы и культуры, как море, и дом, и «трепет жизни», и все это кружилось и сплеталось в гармонический узор пространств, времен, событий. И Бог присутствовал при сем почти что зримо, и в полный голос всё благословлял. А партия родная вроде как ни при чём, что, в общем, само по себе есть не что иное, как битая антисоветчина; «махровая», как называли тогда всё нехорошее, ни за что обижая полотенце.

И пошло-поехало! Собrania, разборы, выступления. Комсомол, в котором я, единственный в классе не состоял, что, как оказалось, не имело ровно никакого значения. Шла тогда кампания «стиляг», фарцовщики и валютчики входили в криминальную моду. Всё это выглядело устрашающе, как будто шла после затишья какая-то новая волна злобы. Но при этом было ещё и скучно пыльной скукой райкомовского фикуса. (Через много лет, на другом конце жизни, я видел целую рощу этих фикусов – огромные экзотические деревья с корой, похожей на заду-белый эластический чулок или шкуру носорога и мощными корнями наружу, напоминающими переплетения расплзающихся из клубка змей – кто бы мог подумать, что всю эту дичь можно рассадить по горшкам райкомовских коридоров!)

На первом собрании, в классе, выступали один за другим мои товарищи, те, с которыми играли в баскетбол, зубоскалили и курили в подворотнях, ходили драться в другую школу и писали вместе на стенку – кто выше. Задушевные, закадычные – какие там еще! – такие, каких никогда больше не было, ибо написалось с тех пор на моей душе похожее на гусеницу слово «недоверие», а из гусеницы этой бабочка любви, похоже, не вылетает. И главное – как будто только этого «фас» они и ждали, и теперь как с цепи сорвались! Видно было, что их организовали, что они готовились, что разобрали предварительно между собой формулировки, и выглядело все как самодеятельный, наспех отрепетированный спектакль на комсомольско-патриотическую тему.

О стихах, конечно, речи там не было – да и быть не могло, так как этот листок никому не показывали! – но до стихов ли тут, когда есть «фас!», санкция на травлю человека, который «звучит гордо». Это же такая собачья радость, что даже колбаса одноименная не остановит! Это работал тот древний народный инстинкт, выраженный известным кличем «ату его!», с которым жило уже третье поколение русского народа – с перерывом на войну – с того времени, как он стал называть себя «советским», и это вжилось так крепко, что вырвать эту репку нынешнем слабакам не под силу. Сам же я, как активно к этой теме не причастный, на празднике том выглядел даже как будто лишним, однако тихим своим присутствием их обвинительного восторга не нарушал.

Удивительнее всего было тут для меня поведение евреев. Позже я читал у Шульгина в «Днях» примерно так: евреев на улице было, вероятно, немного, но вели они себя так шумно, что казалось, будто из них одних и состояла вся уличная толпа. (Глупые, они даже не догадывались тогда, каким они были в той погромной России, на деле, свободным народом, и какую новую, тотальную «черту оседлости» чертят они себе сами, седлая красного коня и ввязываясь в кровавую игру большевизма.)

Тут, в классе, евреев было вместе со мной, кажется, семеро на тридцать лбов, открытых по крайней мере, и трое из них были девочки. Сидели бледные, как пристукнутые, а Пиня Алферов, по кличке Прыщ, выступал. Как отличник.

Он еще в прошлом году был Лифшицем и проходил, естественно, под кличкой лифчик, тянувшейся за ним с 1 класса, когда все мы, независимо от пола, носили на туловище этот нехитрый предмет, ибо к нему на подвязках прицеплены были чулки. Но вот паспорт получил, и 1 сентября пришел в класс уже Алферовым. Это по маме, которая Эльперн: нехитрое лингвистическое преобразование, и – как Второе Рождение пережил (тоже ведь еврейское, как-никак, изобретение!). Заодно и кликуха сменилась на более актуальную для переходного возраста. Сам-то он по причине крайней гормональной умеренности прыщами украшен не был, но общим видом своим – маленьким ростом, тонкокожестью и прозрачностью, очень даже напоминал гнойную головку карбункула.

Что он там говорил, я то ли прослушал, то ли не понял. Я и вообще тогда, в силу защитной избирательности своего слуха, не особенно прислушивался к их речам, а больше вглядывался с изумлением в горящие праведным гневом лица, которые еще вчера казались мне человеческими.

На Пиню – он теперь звался официально Александром, но никто не мог привыкнуть – была возложена тяжелая задача. Все выступали вроде как от души, а он по заданию – как еврей, хоть и анонимный теперь – и, кажется, даже не надеялся это скрыть. И чем более явной становилась эта его ангажированность, тем более он злился, наглед, и разглаживалось заикание, крепчал комариный голосок, так что он даже подпрыгивать начал от возбуждения.

Пинино выступление, однако, задело меня по-настоящему. Не существом сказанного, мимо ушей пролетавшего, но самим фактом. Ведь я только недавно из-за него с лучшим другом поссорился, чуть ли не до мордобоя даже. С Мордовцевым. Здоровенный, краснощекий, папаша – дипкурьер, мамаша – приемщица в антикварном на Арбате, сам боксом занимался на первый юношеский. В общем, для дружбы – лучший вариант: полный дом дисков и всяких штучек заграничных: кола, жвачка, джинсы, слаксы, трузера, батн-дауны, шузы с разговорами. Из особых примет обладатель легендарного пениса, который он охотно демонстрировал, но, начисто не принимая мата, называл исключительно этим латинским термином. К Полине еще тогда подкатывался, сразу, как она появилась в классе. Она тогда его вежливо отставила, но, как потом выяснилось, не совсем, а по блядской своей натуре, поставила в лист ожидания.

С Пиней Мордовцев упорно за одной партой сидел класса, кажется, с шестого и никуда его от себя не отпускал. То ли для того, чтобы списывать у него, то ли, чтобы издеваться над ним на уроках, а скорее и то, и другое по обстоятельствам. Чтобы блистать потом перед нами, как в генерал в офицерском собрании:

– А вот угадайте-ка, господа, почему это Прыщ всегда от меня слева сидит на контрольной? Никогда не угадаете! Да потому что он у нас левша: левая пишет, а правая мне дрожит под партой, чтобы у меня голова на тригонометрию лучше работала. Правильно я говорю, Прыщ? Пора тебя, пожалуй, под другую руку пересаживать, пока эту не переиграл, а то тебе чем писать не останется. Так что давай-ка, «правописание» осваивать начинай – хороший боксёр бьет с обеих рук одинаково.

Смахивало это всё на нравы зоны, от которых подташнивало, но выгоды дружбы с Мордовцевым перевешивали, и я терпел.

Вообще, с такими товарищами, как Мордовцев, тема демонстрации нечистот почему-то всегда маячит где-то на заднем плане, готовая прорваться вперед; причем в самом натуральном выражении. В первом классе еще, он тогда сидел сзади меня в затылок, смотрю, учительница как-то подозрительно поводит носом, как будто что-то унюхала, и идет по проходу прямо ко мне. Как ищейка на запах. Тут и я унюхал – подо мной была свежая лужа, еще дымилось. Ока-

залось, Мордовцев подло нассал под меня со своей задней парты, и только его забрызганные штаны, тогда как мои выглядели сухими, позволили тогда установить истину.

А тут захожу как-то на перемене в сортир и слышу того Мордовцева наглое ржанье: «А слабо тебе, Прыщ, молодому на коленку нассать. Иль не дотянешься? Или не попадешь?» А сам сидит, курит на подоконнике.

(Там у нас ни кабинок, ни писсуаров не было, и стояли, скрестив струи, как шпаги мушкетерские, когда клялись перед боем, по двое, по трое над каждым унитазом – такие собирались «кружки». Но это была вторая половина Большой перемены, все уже разбежались, и в помещении было пусто).

И Прыщ, дотягиваясь с таким напряжением сил, что из выхлопного отверстия реактивно выпускался трубный звук – а может, и что еще, чего снаружи не видно – честно выполнял приказ. А по глазам текли слезы. То ли от натуги, то ли от стыда.

А коленка та принадлежала пятикласснику с красным галстуком, и ему предстояло теперь войти с обоссанной коленкой в свой класс, быть может, уже после звонка, когда девочки все уже сидят, и училка уже у доски. А ответить он не мог не то что тому глумливому жеребцу, что ржал на подоконнике в облаке сизого дыма, но даже и этому ничтожному Прыщу, который для него как-никак старшекласник.

И они с ним, как два жалких гладиатора в Риме, потешали самодовольного хама, патриция.

Тут по всем правилам полагалось бы, прямо над унитазом, отвесить Прыщу по морде – не громиле же Мордовцеву! – но я, прикинув последствия, решил ограничиться разрывом отношений с его шефом. А теперь этот поганый Прыщ, которого я тогда из трусости пожалел, без тени стыда, или хотя бы смущения, клеймит меня с три буны в лучших традициях славного нашего советского народа, карателя и мстителя. А трибуна-то – та самая парта, под которой он на уроках усердно обслуживал своего лощеного шефа.

Интересно, что основного запаха из обычного букета зловония подобных кампаний – запаха антисемитизма, того, что я в избытке нанюхался потом, да и раньше, во дворе – этого в том почтенном собрании почему-то не чувствовалось. Не поступило, вероятно, сверху соответствующее «фас».

Тогда групповой, погромный антисемитизм «стихийно» возникал в нашем народе лишь по команде, а в то конкретное время команды такой не было. Идеологический паровоз был пущен тогда по рельсам не национал-, а социал-патриотизма. А национальное поле отдыхало от буйного урожая послевоенных лет, когда увидели, что Гитлер нас таки не добил, и надо бы доделать дело.

И еще одна была в том собрании, тоже довольно характерная для подобных шельмований деталь. Не просто настроения антисоветские шили – что было, кстати говоря, чистой правдой, и чего, самого по себе было вполне достаточно по тем временам, но активную их пропаганду; 58-ю, то есть, отмененную – растление малых сих. Тяжелейший из евангельских грехов, тот, что при пролезании в игольное ушко оставляет шансов на успех меньше, чем бывает при этом упражнении даже самого богатого верблюда.

Главным среди «малых тех» был один вундеркинд из класса, такой же записной гений, как Полина – красавица, с которым я тогда сблизился, и который через меня вроде стал пить с ребятами водку, сквернословить, и вообще немного походить на нормального, советского десятиклассника. Но, кроме того, еще и сочинять заумные стихи, и посещать вольнолюбивые и отнюдь не «санкционированные» митинги на площади Маяковского, что уже менее нормально. И вот он, простодушный и чистый, попадает в сети соблазна искусно расставленные негодяем и посланцем сатаны, то есть мной.

Тут не лишне было бы пояснить, кем это – «мною». Я тогда и сам-то только год, не более, как вылупился из детства. Ещё год назад, в пятнадцать лет это «я» было чем-то тихим

прыщавым, и задумчивым, сидело дома, читало, преодолевая дислексию, книжки и сочиняло готический роман; никакого, разумеется, об этом жанре понятия не имея (и в последующем, кстати, не приобретя, в котором был некий старый герцог – Эстергази, конечно же – в его поместье, окруженном непроходимыми лесами пятиохватных дубов от самого Пятого дня Творения, и неприступным, окруженным рвом, средневековым замком, разумеется, под названием «Токай», где этот герметизированный старик проводил свои однообразные дни в полной изоляции от шумевшего за лесом нынешнего века. Вероятно, этими двумя, единственно знакомыми «мадияризмами» и была навеяна вся экспозиция, и местом действия была Румынская граница, где леса почему-то представлялись мне особенно дикими и могучими.

(География была той дисциплиной школьной программы, на которой я отдыхал от утомительной скуки грамматики, бессмысленной (для меня) абстракции математики и фальши истории, которую чуял интуитивно, и основное время я проводил над контурными картами, которые сначала зарисовывал, как мне надо, а потом, глядя на свою собственную «картину мира», мечтал, как там шумят леса и воют в тех лесах звери и вампиры.)

В лесу том жили – и тоже от Сотворения, о котором я при этом имел тогда понятие не более, чем о готике – огромные совы, охрана замка. Птицы постоянно сидели, качаясь, на своих, упруго прогибающихся ними, стволообразных ветвях и подымались в воздух только тогда, когда в лесу появлялся человек – грибник ли, дровосек ли, просто ли путник запоздалый, легкомысленный, чтобы спикировать ему на темя и через родничок выклевать мозг и потом – глаза из глазниц. Это было их единственное питание, и в этом служебная надобность совмещались для них с жизненной необходимостью; недостатка, учитывая густо населенную окружающую Европу, тут не было. Питание же их хозяина составляли новорождённые младенцы. Их производила для него и ритуально подавала на его стол, служивший как бы сатанинским алтарём, многочисленная вольнонаемная челядь, нанимаемая из окрестных поселян. Эта пища обеспечивала ему бессмертие через постоянное омоложение младенческой кровью. (Тут были, вероятно, отголоски слышанных краем уха, менее готических и более актуальных, юдофобских легенд относительно недавнего времени.)

Такова была незатейливая завязка – некие простенькие замкнутые физиологические циклы, а дальше надо было выращивать из этого ветвистое дерево сюжета, и здесь, как водится у юных дилетантов, начинались трудности. Выручала обычно графомания, но и этого блаженного дара я был тоже лишен.

Неожиданным разрешителем моих творческих мук оказался тогда отец, которому во время одного из его редких визитов рукопись случайно попала на глаза, или, может, мама подсунула тетрадку? Не помню уже, что за свежую шутку он по этому поводу отпустил, но только после этой устной рецензии сошел мой нездоровый литературный зуд, и меня из затхлости моего добровольного заточения вдруг потянуло на улицу, к пацанам. А точнее к растущим на глазах, как молодая роща, подошедшим к шестнадцатилетию девочкам, в их свежем шуме найти какую-нибудь более адекватную форму для своих возрастных эротических фантазий.

Вот в таком виде я и пришел к тому злосчастному собранию и прямому или косвенному столкновению со всем моим тогдашним окружением. Кроме вундеркинда, которого на том собрании не было, так как хлопотливая «идише мама», убивая сразу двух зайцев – и армию, и каталажку, успела затырить его куда подальше. В дурку то есть в Матросской Тишине, после которой он так шизом на всю жизнь и остался. (Потом к тому же еще и допился до того, что на моих проводах назвал меня изменником – чего только ни бывает с отставными вундеркиндами!)

А что, кстати, до влияния моего пагубного, как Учительская определила нашу лицейскую дружбу, то тут они как в воду глядели. В силу смещенного в сторону цифр интеллекта, который у этих товарищей обычно бывает эксцентричен, а может, еще и не без помощи аминазина или галоперидола, человеком был он очень несамостоятельным, легко увлекающимся и всегда

находившимся в духовной зависимости от очередного предмета своего увлечения, по большей части разного сброда, что очень затрудняло общение с ним. Так что по части «влияния» я был, возможно, только пробным камнем.

Полина тоже на том собрании «блистательно отсутствовала», но по своей, по царской причине – как единственная, кто мог себе это позволить при общеобязательной явке. Никто, правда, особо против того отсутствия и не возражал, так как готовилось принятие резолюции единодушным голосованием, и ее неприход был как бы дипломатичным согласием не мешать мероприятию. По умолчанию, так сказать. То есть попросту тихо меня сдала, так что и петухов считать не понадобилось; как, собственно говоря, и должна вести себя комсомолка, когда вопрос ставится ребром.

Мне было без двух месяцев семнадцать лет, и я увидел тогда в лицо, как выглядит все-народная ненависть к врагу, которого, в развитие известного тезиса пролетарского писателя, уничтожают, даже если он и сдается, на всякий случай. И заодно – как выглядит измена, предательство друзей, надолго, может быть, навсегда отравившее мне память о детстве и школе. Вероятно, то была пиковая фаза, моих взаимоотношений с обществом, которые на моей памяти начались во дворе нашего дома, в день моего «первый раз в первый класс».

В самом центре огромного по тогдашним моим масштабам двора стояло, как языческий жертвенник, кажется, и до сих пор стоит, безобразное сооружение из ржавого листового железа – большой бункер с печью и высокой трубой посередине. То ли броненосец, то ли бронепоезд, то ли бронтозавр. Официально называлось это чудовище Снеготаялкой, а на дворовой фене, как всегда меткой – душегубкой.

Черный дым валил из трубы этого крематория снежных баб, которые, шипя, сгорали там «заживо», как ведьмы на священных кострах Великой Инквизиции. Огонь пробивался зыбкими языками наружу, от раскаленного железа таял снег вокруг, темная, красноватая от ржавчины, талая вода вытекала из специальных отверстий зловеще, как стекают с алтаря кровь и туки жертвенных животных.

Семья дворника Хабибуллина – жена и трое из пяти детей, как команда храмовых жрецов, служила у этого алтаря службу. Центральную роль в том дворовом ритуале играла молодая дворничиха Клава Ворошилова, моя соседка по квартире, тогда только-только приехавшая в Москву из деревни и вселившаяся в угловую комнату, после того как свезли в крематорий прежнего жильца, безногого Володю.

Был еще, помню, такой специальный дворничий инструмент с красивым названием совок – большой лист толстой фанеры на длинной палке. Когда Клава почти бегом гребла тем совком растущий на ходу снежный сугроб к бункеру снеготаялки, где Хабибуллины лопатами переправляли его через борт в бушующее пламя, то возбужденная толпа дворовой мелюзги, предводимая Хабибуллиным-младшим, провожала ее с боевым гиканьем, тоже, как и снег на ее совке, нарастающим по мере приближения к цели. А потом, откатной волной, отраженной от железного борта, катилась за ней обратно, к гигантскому материнскому сугробу, который в тот день назначен был на уничтожение, и там ее ловили и набрасывались, и валили в хрустящий снег, как лилипуты Гулливера, и забирались целиком в ту жаркую «душегубку», что под ее телогрейкой, проникая маленькими ручонками в самые потаенные места и пускали там в ход все свои пальцы, и локти, и сопля, и носы.

Тогда она, хохоча неудержимо от щекотки, недозированной деревенской матерщиной переменяя размашистые оплеухи на все стороны, стряхивала нас с горы своего тела, как корова стряхивает хвостом облепивших ее навозных мух, и мы, разлетевшись кто куда, на безопасном расстоянии пережидали минуту, пока она вставала, разгоряченная со снежного того ложа, одергивалась, наспех подпоясывалась и снова бралась за совок для очередного повторения всего этого ритуального цикла.

Как алтари жертвоприношениями своими спасали города от разных напастей, так и этот inferнальный агрегат спасал колодцеобразный двор наш от весенних паводков. Иначе двор пришлось бы закрывать, как закрывали в распутистом марте бульвары.

Но это все зимой, а летом снеготаялка торчала вполне бессмысленно и только футболу мешала, оттесняя его от середины двора поближе к окнам нижних этажей. Я в футбол во дворе почти не играл – не брали, только если по острой нехватке, но с этим адским сооружением имел особый счет.

Счет тот был открыт 1 сентября пятьдесят третьего года, когда я впервые в моей жизни вернулся из школы. Весь надутый от важности и с ранцем, загруженным разными новыми для меня, важными предметами: пеналом, ластиками, тетрадками, альбомом, и не съеденным то ли по рассеянности, то ли потому, что не поймал момент, бутербродом, завернутым в отпечатывающуюся на нем, свежую, не читанную дедушкой газету.

Клара Марковна, которая накануне всё это собирала, покормила меня обедом, и, пока отвернулась помыть посуду, я, влекомый естественным интересом покрасоваться на людях, черным ходом утек во двор. И ранец с собой стянул, ещё не разобранный – как же без ранца-то, пижоном-то я был еще с самого раннего детства – и на спину натянул, по лестнице спускаясь.

А во дворе уже собирались потихоньку из школы наши второгодники. Среди них и один из старших Хабибуллиных, который и так-то во дворе находился постоянно по нуждам их семейного бизнеса.

И вот я себе прогуливаюсь, независимо и важно со своим ранцем, как гусь вокруг лужи, а они, смотрю, сбились в кучу у душегубки, сплевывают сквозь зубы с оттяжкой, на меня поглядывают. Потом вдруг подзывают знаками, и даже слово «пацан» послышалось.

Я, вне себя от счастья, так как никогда до того не был причисляем к привилегированной касте пацанов – своих, то есть адекватных – подхожу. Как бы нехотя. С ранцем, как деловой. «Ты», говорят, «тут типа подмоги чуток, должны с того двора пацаны прийти, нас бить, так мы сейчас за помойкой поховеаемся, и ты тут, в душегубке затихарись, позырь за воротами. Как крикнешь, так мы выскочим и всех измудохаем. А то иначе нам с ними не сладить».

Иначе – это значит без меня! Я, значит, не только что пацан, но еще и ключевой, без меня не обойтись, вот какая гордость забила тогда в моем мозгу! И ответственность какая: не только увидеть, но и оценить расстояние – чтобы и раньше времени не поднять бойцов, и чтобы не опоздать, но точно рассчитать момент атаки.

«Только смотри, – говорят, – не трусь, а то если раньше времени закричишь, мы не поспеем, и они тебя тут прибьют, в душегубке-то».

А я хоть и не храброго десятка, но за компанию, за которую «жид повесится», тоже на все был готов, как Павлик Морозов. К тому же слегка хорохорился, так что в последних дураках вроде бы не числясь, всей нелепости задания, вполне, кстати, характерной для советской детективной драматургии, как-то не оценил.

В общем, лежу внутри, носом прижавшись как Анка-пулеметчица к вонючей, ржавой железке, наблюдаю через сточную дырку, как в смотровое отверстие в танке. Даже ранец со спины снять забыл, теперь ремешки под мышками давили. Стараюсь моргать пореже, чтобы неприятеля не пропустить. Как, думаю, все войдут, подпущу поближе, чтоб уж наверняка. Как Анка-пулеметчица.

Тут вдруг чувствую: то ли я вспотел сильно, то ли дождик пошел. Скорее дождик, потому что очень уж мокро и звук падающей воды по асфальту в моей гулкой железной коробке. И брызги в морду, и пыль вроде как завоняла. А мне шевелиться-то не велено, я и лежу. Потом слышу: смех. До того долго сдерживаемый – как будто плотина прорвалась. И в тот же момент фиксирую сильнейшее, отвратительное, аптечное какое-то зловоние.

И уже я весь в пару и в слезах: меня мочили! В самом прямом, буквальном смысле! Пока я задание ихнее выполнял, так сопя, что ничего вокруг не слышал, они залезли наверх – а там

доски какие-то были перекинута между бортиками в роде крыши решетчатой – и такой мне «душ» устроили, горячий, из пяти рожков, прямо как в высшем разряде «Сандунов».

Потом бегу вверх по черной лестнице домой, а за спиной ранец хлюпает, с букварем, тетрадкой, альбомом, пеналом – все новенькое. С бутербродом несъеденным в промокшей, нечитаной газете, с сыром, как помнится. Но главное почему-то – с пеналом.

Отмывала меня мама. Она специально взяла в тот день отпуск и примчалась из своей постоянной командировки в Москву, чтобы отметить в знаменательном событии – встретить меня из школы и повести в «Националь» пообедать; да вот опоздала чуть-чуть. Она потом, бедняжка, полвека спустя на смертном одре с грустной улыбкой припомнила мне этот случай! Мой шикарный, скрипучий ранец был после тщательной промывки сдан дворнику Хабибуллину, и я получил на первое время старый дедушкин портфель.

Маленький Хабибуллин, мой товарищ, часто вертевшийся у нас, тоже, конечно же, был среди тех, меня мочивших. Тогда перед моей мамашей, которая устроила настоящее следствие по делу, он, прижатый к стенке аргументами обвинения, каялся, говорил, что его заставили. А теперь вот выступил среди прочих на этом собрании, и был вполне убедителен. А я как будто снова был коллективно обосран.

После того, первичного собрания в коллективе, встретившего сочувственное понимание Амалии Семёновны, пошли разборы в инстанциях – педсовет, райком, РОНО, и прочее говно. И, удивительное дело, чем более чужды люди литературе, тем больше они рады случаю на ней оттоптаться. Разбирались стихи.

«И красный вождь, и белый офицер» – это что же, знак равенства что ли? И дальше: «я ж делал всё, чтоб братьям помешать себя губить, друг друга истреблять». Мешать истреблять врагов – это комсомольская ли позиция? Это же плевок на святую память Павлика Морозова! А что за «дни доносов и тревог»? А как это, что «я читал в одном столбце с другими в кровавых списках собственное имя»? И с чего бы это вдруг власть отнимала бы дом – а власть-то ведь только советская бывает, это же устойчивое словосочетание! – что за намеки?

А вот уж прямо голос клеветника и очернителя, «пасынка России» неблагодарного: «За полтора года лет – с Екатерины – мы вытоптали мусульманский рай, свели леса, размыкали руины, расхитили и разорили край» (ислам-то тогда еще не был знаменем освободительной борьбы наших друзей из Хамаса, но был просто религией, одной из, то есть опиумом для народа!).

Но и без этого даже всего – скажем прямо, не «Василий Теркин». Тон какой-то не советский, не из учебника, душа не принимает. А девочка-то хоть и эпатажного – по тем временам – была поведения, но с чистой анкетой и биография вроде пока незапятнанная. А на мне уже и телега за Маячка, и разные публичные высказывания, и вообще... И ко всему ещё такой еврей, что только держись – со всех сторон, пробу ставить негде; но только, правда, на анкете, на морду-то был не похож. (Я тогда еще не успел «извне» полюбить тот народ и свою принадлежность к нему воспринимал как неизбежное зло или, по крайней мере, некое неудобство, данное мне от рождения, как даются разные физические недостатки, с которыми потом придется жить, и деться некуда.)

Короче, мало кому известное тогда имя автора злосчастных тех стишков было самым естественным образом заменено в Амалиных устах на актуального Пастернака, и ударение на падежное окончание придавало этому особо грозное звучание. Полина рука на том листке с той же естественной «легкостью необыкновенной» превратилась в мою якобы руку, и дело о моем отчислении – из выпускного класса, да во втором полугодии, за три месяца всего до аттестата зрелости и всяких там по этому поводу приятных торжеств со светлыми июньскими ночами, веселыми драками в парках, податливыми вдруг, как будто только этого дня и дожидались, одноклассницами! – дело то было состряпано и проведено по всем инстанциям по-ста-

хановски быстро. Так что к 8 марта я уже вылетел с треском, как отодранная от прошлогодней замазки форточка вышибается ударом свежего ветра весны. Обидно, эх, досадно!

Окончательно меня тогда завалила – она же забила последний гвоздь в крышку моего гробика, и она же бросила первую жменю земли на безымянную могилку – Тунгуска, выступавшая в том «Деле Дрейфуса» как бы общественным обвинителем. Новенькая, сибирячка.

Едко рыжая, безобразная, резкая вся, без малейшего намека на женственность, сама откуда-то с тех речек страшных, за что и прозвище такое получила. А еще за то, что ворвалась тогда в середине осени в наш подгнивший за лето, перегруженный проблемами 10 Б, как шаровая молния с ясного неба. Или как метеорит в окно.

Как ее звали по-настоящему, это, кажется, знал только классный журнал, а это-то было между тем самое в ней интересное. Имя ее было Октябрина Прохорова (по матери Дорндрейден, фамилия не малозначимая в дальнейшем повествовании). Из тех, что в графе «национальность» писали честно и прямо: «комсомолка». (А что ещё, если по правде, писать в этой графе в конце 50-х дочери немки и еврея.)

Тунгуска не случайно прилетела к нам из тех краев, «где течет Енисей, и сосна до звезды достаёт». Она была заделана, выношена и рождена Сибирской ссылкой, где ее отец, питерский троцкист ленинского разлива, за свою контрреволюцио-троцкистскую(?) деятельность – к.р.Т.д. – мотал пожизненный срок, ибо на этот, особо зловредный контингент – «о.з.к.»? – у которого в рутинную к.р.д. была врезана, как крапленый туз в колоду, еще и эта зловещая «т», никакие хрущевские поправки не распространялись, и повстречал там московскую немку, высланную в начале войны.

В тот год, однако, открылось и для них некое окошко, форточка в Ноевом Ковчеге – хоть птичку выпустить! И послали девочку к дядюшке в Москву, чтобы школу закончила столичную, а может, куда и поступила. И как сверхзадача – чтобы мне всего этого сделать не дала. Поэтому с первого же дня Тунгуска почуяла во мне классового врага и со всем комсомольским задором включилась в борьбу по искоренению. Засучив по локоть рукава и не рассучивая, пока всё, как в песне ихней пелось, не было доведено до конца.

Была в ней, вероятно, какая-то тёмная харизма, благодаря которой она за месяц с небольшим полностью завоевала коллектив – народные вожди всегда идут от темной силы, тогда как посланцы света, если и принимаются народом, то только в качестве пасхальной жертвы – и к концу февраля класс уже выглядел полностью загнипнотизированным, с парализованной волей, как стадо баранов перед пастырем с дудочкой. Или, точнее, как свора гончих, готовая сорваться по первому же сигналу пса на любого зверя, хоть на волка, хоть на зайца. Привычный, в общем, гипноз русской власти.

И сигнал был дан – Полинина мать с этим листком и стихами; а что это был за зверь, что тогда затравливался, этого я до сих пор не пойму, скорее всего заблудившийся хомячок или тушканчик.

Я был слишком глуп и наивен, чтобы задуматься над простым вопросом: какую такую опасность для своего дома увидела эта Наталия Васильевна, тридцатипяти- или шестилетняя пухлая бабенка, офицерская жена с грудным младенцем, в тех вполне безобидных стишках о вполне чуждых ей материях, чтобы бежать с этим к директору, скандалить, собственную взрослую дочь позорить. Более того, я даже склонен был ее понять – принцип «кто кого перестучит» тогда еще принимался сознанием, даже детским, как норма поведения. И даже когда выяснилось потом, что это она не сама, что это Тунгуска ее навела, я и к этому отнесся с пониманием: как же, идеология – мерзко, но объяснимо.

Единственное, чего бы мне и в голову никогда не пришло, так это то, что сама Тунгуска, пламенная и непримиримая, могла тут иметь какой-то свой еще интерес, личный. Её и так-то трудно было заподозрить в наличии оных интересов, а уж тут, в этом неблагополучном

раздрызганном полусемействе, чего ей с ее пробойной энергией искать? Разве только – майор?.. Но нет, оказалось, что майор-то – и только он один! – тут-то как раз и ни при чем.

Я просто не придумал значения тому, как Тунгуска с первого же почти дня стала подбираться к Полине. Даже не осматриваясь, так как видела цель сразу, инстинктивно. Действовала, тоже по инстинкту точно, как рысь на охоте. Сперва завладела местом: под каким-то предлогом оказалась с ней на одной парте – и сразу дала всем понять, что уже не отцепить, а потом стала продвигаться по этому пути дальше с нарастающим ускорением, готова прыжок.

Прыжок был до того молниеносен, что незаметен – просто очень скоро стало понятно, что дело сделано. Прежде всего, по глазам самой Полины. Она вдруг вся как-то стусевалась, погасла, исчезла куда-то прежняя веселая самоуверенность, улыбка стала смущенной. У нее как бы пропал интерес к себе в мире, и в ответ у мира тут же стал пропадать интерес к ней; так бывает с провинциальными девушками в первый год счастливого замужества. Всем, что вокруг неё, заведовала теперь Тунгуска. Один только я продолжал её по-прежнему боготворить, но тоже скорее по инерции – роман-то наш к тому времени сдулся уже безвозвратно, что совпало с появлением Тунгуски.

В школьной программе не было тогда никаких специальных секс дисциплин, если не считать за таковые спорадические душевспасительные беседы с девочками при закрытых дверях, и о лесби мы не имели никакого представления. Наблюдая, как они танцуют в прижимку, трутся прорастающими грудями, унимая в них зуд, и пылающими щеками, глядя куда-то вдаль бессмысленно и томно, я не вкладывал в это странное поведение никакого скрытого содержания, и никак его себе не объяснял. Да и не было это, вероятно, настоящим лесби, а так, взаимная легкая мастурбашка.

Я потом в жизни сталкивался с этим явлением не раз, но все равно так ничего толком и не уразумел. При этом мужской вариант гомосексуализма, знакомый по однообразным картинкам с подписями на заборах и стенах общественных сортиров, был более-менее понятен; ну механически, по крайней мере. Может, и женские сортиры, в свою очередь, тоже проливают тут какой-то свет, но до меня он оттуда не доходил. И если у мужчин я это как-то мог себе, зажав нос, объяснить на генетическом уровне, то женщина была в этом жанре абсолютной для меня загадкой.

Я посещал тогда подпольный генетический кружок, собиравшийся в одной из тех квартир нижнего этажа Академического корпуса, и хоть и делал это исключительно из антисоветских своих пристрастий, какая-то информация, застрявшая в еще не до конца замусоренных мозгах, давала основание полагать, что мужчине его полный комплект половых хромосом (XY) может сообщать определенную сексуальную амбивалентность, тогда как женщина с ее однородной парой XX представлялась настолько цельной и однозначной, что привести ее к гомосексуальной перверсии могли не естественные, генетические причины, но только поиски путей освобождения от сидящего на ней беса. Освобождение такое называется для краткости оргазмом, и беса того выгоняет из организма грубое мужское вмешательство – большой амбарный ключ, отмыкающий со скрежетом затхлую темницу в подвале. Вероятно, в изоляции от мужского пола – в тюрьме, например, или в монастыре – эту роль может играть женщина; как, например, прелестная Настоятельница у досточтимого маркиза, но в общем смысле это удел женщин или мужеподобного типа, или просто не способных к извлечению оргазма натуральным путем. Вот в этом-то пункте парочка и сошлась. Может, и рановато в шестнадцать-то лет, но ведь лесбийские наклонности проявляются, как известно, весьма рано, иногда еще на стадии мокрых кроваток.

Итак, дом назывался «Россия». Это слово было приятно своей непривычностью – оно ласкало слух после казенного слова «родина», скомпрометированного прилагательным «советская» (с «Россией» этот компрометаж тогда ещё почему-то не работал), или совсем уж одиозного Сэсээра.

Как и положено континенту – а название звучало вполне континентально – дом занимал целый квартал. И как сад Эдем, он омывался с четырех сторон – бульваром, улицей и двумя переулками – и был, как средневековый замок, изрыт изнутри колодцами дворов.

Он состоял из двух самостоятельных корпусов, один из которых, по причине его принадлежности Академии Наук и населенности некоторыми ее членами разного достоинства из по каким-то причинам уцелевших, назывался Академическим.

Проход между корпусами, служивший тут заодно и внутриквартальным переходом, замыкали с двух сторон высокие решетчатые ворота фигурного литья. Называлось это проходным двором, хотя по воздушности и прозрачности было бы точнее – продувным; а вместо двора и слова-то подходящего не подберешь, может быть, «пролет»?

Ширина этого пролета соотнесена с высотой дома в золотом сечении, отчего весь ансамбль из камня, чугуна и пространства звучал величественно, как органнй аккорд. В этом аристократическом мезонине было всего два парадных на десяток квартир, и видно было снаружи, что жили там просторно.

Главный же корпус был вполне плебейский, но на наружном облике дома это никак не отражалось, а из-за размеров он казался даже строже и величественнее. И внутри его, где копошилась наша жалкая, коммунальная повседневность, тоже попадались некоторые трудноискоренимые пережитки в виде старорежимных дубовых и буковых паркетов и аляповатых алебастров потолков, на которые она смотрела бессмысленно со скрипучих советских матрацев.

Наружный облик включал в себя и парадные подъезды с пологими мраморными лестницами и просторными лифтами, кажется, первыми в Москве. Все вместе, с барельефами, фризами и обильной лепниной стен, производило впечатление классического совершенства, и легкая сдвинутость стиля из модерна в псевдоампир отнюдь этого впечатления не разрушала, усиливала даже. Остекление без переплетов в студиях верхнего этажа, чугунные перила балконов, клейма, горгоны над окнами, а в промежутках литые черные ангелы с трубами в руках, суровыми лицами и почему-то женскими грудями.

Крылья ангелов были распахнуты как на взлёте, и они готовы были сорваться в любой момент. Это в Восемнадцатом, когда небо было особенно беспокойно, что-то странное и непонятное неожиданно им задержало старт. И они так и заторчали на неопределенное время в недоумении, потому что жизнь наша периодически подбрасывала им все новые и новые задержки; оттого и сердиты их лица.

Из бесчисленных, как мне казалось в детстве, наших соседей я выделял уже упомянутую по дворовому эпизоду, двухметровую Клаву Ворошилову. Первоначально это выделение, перешедшее впоследствии в крепкую дружбу, выражалось в том, что я наблюдал за ней в ванной. Почти как фавн – за купанием нимфы, или пастушки.

(Разница в том, что тот, во-первых, знал, зачем он выслеживает своих «натурщиц», а во-вторых, наблюдательный пост – под лаврами во мху – был у него поудобнее. В моем же случае надо было выждать, пока объекту взбредет в голову зайти в ванную с тазом и полотенцем, и тогда в сортире, сообщавшемся с ванной маленьким окошком под потолком, вольтижируя на шаткой пирамиде из унитаза и табуретки и полувисая, на медной цепочке чугунного бачка «Ниагара» на высоте почти трех своих ростов, быть сбитым, как глухарь, выстрелом навскидку дуплетом из двустволки ее намыленных – в прямом смысле – маленьких, среди всего ее прочего большого, глазок, грохнутья оттуда вместе со всей конструкцией на пол и не сломать при этом шею об унитаз. По крайней мере, так осмысливалось моим пытливым умом существование того таинственного окошка под потолком, почему-то называемого слуховым.)

Клавин предшественник Володя, тихий алкоголик и нищий на паперти, был одним из классических представителей этого славного цеха в Столице. Человек-культя – пустые брюки да два ордена «Славы» на пиджаке: по «Славе» за каждую заправленную за пояс штанину. А

до третьего не довоевал, так как с пустыми штанами пехота не воюет (а если оторвать ещё и то, последнее, что в этих штанах оставалось, то какая уж тут «Слава»?)

Златоглавая наша Белокаменная была по Центру переполнена вся такой безногою пехотой, в ватных полупустых штанах на кустарных дощечках с гремучими подшипниками. Время от времени проводилось авральное мероприятие по уборке и очистке города – что-то вроде Ленинского Субботника, в стужу сталинскую еще начали, пока к Фестивалю веселой молодежи в 58-м, в самый разлив хрущевской Оттепели не свезли на Валаам последних.

Володя, слава Богу, до этой стратегической операции не дожил. Как и не дожил до смерти вождя, за которого вылезал из окопа под пули, пока было на чем, и пер уперто на Берлин. Он успел помереть за неделю до той «хрустальной ночи». Как праведник – во сне, в своей постели, с пьяной улыбкой на лице. Вероятно, судьба определила ему должность местоблюстителя в той, приготовленной для Клавы горнице-светлице 5×2, и не более.

Клава тоже была, в своем роде, героиня, хоть и без орденов, и с обеими ногами – и какими! – одна из первых, кто отважился на штурм советского крепостного права. В шестнадцать лет эта деревенщина неким нехитрым, проверенным тысячелетиями, женским путем выправила себе в сельсовете паспорт, покинула свою голодную Смоленщину, приперлась в Москву и тем же путем прописалась к нам. По дворницкому лимиту, в ту, освободившуюся по Володиной смерти, комнату, по пропорциям похожую на гроб; только такой высокий, что как будто на двоих – один на другом.

По утрам и вечерам она в порядке барщины, метлой или лопатой, смотря по сезону, отработывала во дворе свою жилплощадь, а днем ходила на халтуру в соседний корпус, к «академикам», где уборкой квартир честно зарабатывала себе на сигарету насущную. А по мере того как простая деревенская Клавина порода обогащалась столичной цивилизацией, дворницкая повинность уступала место менее обременительным и гораздо более выгодным вечерним выходам на бульвар в теплое время года. В холодное же время ограничивалась уборкой; иногда, по слухам, с предоставлением дополнительных услуг; но это последнее, однако, исключительно по специальной просьбе клиента.

Клава привлекала мое внимание не просто гигантскими размерами, но и неожиданной при этом легкостью всей своей конструкции, достигаемой соразмерностью частей, и идеально правильной формой каждой из них в отдельности. Исследование этого антропо-архитектурного феномена проводилась мною по ночам и выглядело следующим образом. Когда дедушкин храп брал ритм и тон стабильного сна, я выскальзывал, как тать, в коридор и прокрадывался к Клавиной двери – третья слева, в нише за углом. Брал с собой для солидности печенья или конфет, «чайку попить» якобы.

Она в тот час, конечно же, тоже, как и дедушка, обычно уже спала, ибо все занудные работяги похожи друг на друга (тогда как каждый праздно шатающийся лентяй праздно шатается по-своему). Ну, если только не было в прошедшем дне чего-то такого, что смутило девичий покой и отодвинуло сон.

Спала она, как свойственно крупным особям, на спине, раскинув по сторонам свои могучие груди и тяжелые бедра, похожие на сибирский кругляк на лесоповале, и я, используя ситуацию, заползал на эту гору и, впившись всеми своими щупальцами и присосками в расслабленный сном мягкий живот и утвердившись в развале мясистых грудей, проникал где-то снизу восставшим червём в темные, влажные глубины. Но только постепенно, вкрадчиво, не будя спящего зверя. Тактикой оппортунистов-постепеновцев как бы: не надо, мол, свои нехорошие делишки преждевременно доводить до общественного сознания.

Постепенно, однако, тоже так же, как и те, разгорячался до полного неприличия, неистово вгрызаясь в ее естество, как забойщик безнадежно долбаёт породу своим новеньким отбойным молоточком. Невозмутимая туша отвечала сонной благосклонностью, так как голова ее усво-

ила накрепко из журнала «Работница», что такая ирригация девушкам полезна для их женского здоровья; в разумной, однако, дозировке, чтобы не заболачивалось.

Никаких «восторгов любви» гурия моя при этом никогда не выказывала, и я полагаю, что дело тут не только в полном отсутствии какого-то ни было интереса к юному любовнику, но еще и в общей эмоциональной заторможенности этой деревенщины. Просто лежала глыбой во мраке, уставясь бессмысленно в бледный потолок. При этом анатомически ладно скроенный организм и физиологически был, как видно, всегда в полной боевой готовности.

Иногда, впрочем, она меня раздраженно смахивала с себя под крепкое словцо, (как когда-то стряхивала нас играючи, весело со снежной пылью во дворе); это означало, что у нее особые «дни». Иногда дверь ее была закрыта по просьбе какого-нибудь нечастого гостя.

Девушка она была обстоятельная, к будущему относилась серьезно, и готовилась – который год! – в техникум, а потому рассчитывала силы, не растрачивая их на бесполезные романы с солдатами в Парке Культуры и танцы в саду Баумана. Поджидала, годам к двадцати пяти, хорошего жениха и поддерживала форму, а слишком часто подпускать к себе посторонних остерегалась, во избежание известных рисков; только, может, по крайней денежной необходимости. Ее служебные обязанности отправлялись параллельно и вполне гармонично, и, как и всё у таких аккуратных натур, вплетались в жизнь, ничему в ней не мешая.

Уходил я с тех романтических свиданий тихо и быстро, как скокарь, так ни разу и не осознав до конца всей красоты и смысла этого благословенного занятия. Но излишних вопросов не задавал – и из уважения ко сну трудового человека, и просто на всякий пожарный. Для достоверности дергал по дороге «Ниагару», громыхал сортирным крючком и щелкал выключателем – это как раз напротив нашей двери – чтобы на случай чего, если дедушка проснулся, то есть обеспечить себе алиби в его глазах. Точнее, ушах.

Принимая во внимание его обязательные, трех-четырёх разовые за ночь, стариковские вставания, эти мои экспедиции были не из безопасных. Его брюзгливое кряхтение говорило о том, что хоть и поставлен был эксперимент не совсем чисто, результаты тем не менее принимаются. После этого дом окончательно погружался в сон. Если детские наши дворовые забавы с юной дворничихой Клавой напоминали гравюры из детского издания «Гулливера в Стране Лилипутов», то теперь мной одним иллюстрировалась следующая книга – «Гулливер в Стране Великанов».

А установились эти наши с ней доверительные отношения с того самого промозглого ноября, когда Сталина выносили. Нас тогда погнали всем классом на стройку, расчищать мусор к сдаче объекта, приуроченной, как всегда, к Празднику. Вот там, на свалке строительного мусора под иронически-недоверчивым взглядом Полины в милой косыночке, я с гусарским вызовом судьбе в одно касание опустошил из горлышка четвертинку «под мануфактуру». Рукавом, то есть, занюхал – и вся закуска.

Домой вернулся на бровях. Открыла Клаша и, нюхнув, затолкала в свою светёлку от греха подальше. Была Суббота и приехала мама, и ждала меня, чтобы нам повидаться и ей уехать на Брестскую, так что если бы Клаша не перехватила меня случайно у двери, был бы скандал немислимый.

Она, взяв с меня слово блевать только в окно, но при этом туда не падать и, заперев на ключ, пошла во двор по своим дворничьим делам. Постель она, в расчете на усталость по возвращении, всегда держала наготове под покрывалом, чем я, недолго думая, и воспользовался. Ибо состояние мое никак не позволяло оставаться далее на ногах, ни даже на стуле.

Когда она вернулась, я был в самом зените мертвецкого сна, и тащить меня на горбу по коридору к дедушке, да еще и объяснения подбирать, ей, намахавшейся во дворе метлой, не слишком-то хотелось. А я к тому же, не будь дурак, ещё и раздеться догола как-то ухитрился – привычка! – так что же теперь, портки на меня еще натягивать; не исключено, что и обоссанные к тому же? Она просто задвинула хрюкавшую тушку в щель между тахтой и стенкой, легла и

тут же заснула своим пролетарским, тяжким сном. Когда же я, проснувшись среди ночи, стал выкарабкиваться из ущелья, то на перевале случилось само собою то, что в таком положении никак не может не случиться. Никаких серьезных контраргументов у нее тогда, со сна, как видно, не нашлось. Так или иначе, но первая «брачная ночь» тогда состоялась. На школьном романе с Полиной эта параллельная бытовая история совсем никак не отражалась.

Я рос в летние месяцы в Одессе, с детства любил море и мечтал о кораблях. И этот длинный дом представлялся мне тоже кораблем. Перенаселенным «Титаником», плывущим в океане времени, среди его течений и волн, и подводных рифов, и айсбергов. Не случайно был он построен московским архитектором Проскуриным и «спущен на воду» его владельцем РАО «Россия», как раз на линии водораздела времен, в первый год XX века. И тоже, вероятно, не случайно, что в тот же год в этом доме, в качестве его первого коренного жильца, родился некий престранный персонаж, претендующий отселе на ключевое в данном повествовании место.

Началось с того, что при первом заселении свежестроенного дома одна из квартир академического корпуса была предоставлена тридцатипятилетнему микробиологу д-ру Оскару Дорндрейдену, русскому немцу, вернувшемуся из Кембриджа, где он проработал двенадцать лет, в родной Московский Университет на должность доцента естественного факультета.

При нем была его жена на сносях – двадцатилетняя ирландка Рэйчл, рыжая, как ирландский сеттер, и ни слова по-русски – компактная, на полдюжины кубометров библиотечка в картонных контейнерах и самые радужные перспективы на родине – что научные, что бытовые.

В первый же месяц по вселении в этих скромных, на сотню квадратных метров трехкомнатных апартаментах верхнего этажа, особого, под самой крышей и потому с низким, чердачным потолком, рыжая Рэйчл благополучно разродилась крикливым младенцем мужского пола, в следующем году появилась дочь. Последняя, однако, на роль героини романа никак не тянет; да и не просится. Иное дело, первенец.

В мое время он был известен по прозвищу Дод, сделанному то ли из скелета фамилии – Дорндрейден – то ли из инициалов – Д.О.Д. – то ли просто из имени, которым он был крещен по рождении – Давид – для которого «дод» есть вариант произнесения (евр.); в последнем случае это уж и вообще не прозвище, а просто само имя и есть. Отсюда, от этого имени происходит и английское «дэд» (папа), и русское «дед» и «дядя», а последнее раскрывается целым веером значений, включая и «милого друга», и «любownika», и «соблазнитель».

Дядя исполнял, обычно, в семье те пикантные поручения по воспитанию недоросля, которые не с руки родителям; особенно почему-то, если это дядя со стороны матери. Ну, а если был тот дядя младшим братом (матери, реже отца), и «недоросль» тот был к тому же девицей, то и роль дядина могла приобретать вполне куртуазную окраску. Есть, вероятно, и еще множество разных значений, тут упущенных, и всё это вмещает в себя короткое и емкое слово «дод».

Мы познакомились той самой, сумасшедшей весной 62-го года, в самом ее майском разгуле, когда после исключения моего из школы и прохождения ускоренного курса «производственной практики» и комсомольской перековки маялся весь, от тоски и безделья. Познакомились случайно, как это бывает с беспорядочно живущими людьми. В день моего семнадцатилетия почему-то, точнее накануне.

Утром, часов в одиннадцать меня разбудил телефон. Это была Клаша. Она сказала, что она сейчас убирала одну квартирку в академкорпусе и уже вроде закончила, но на улице такой дождь, что не выйти, и не принесу ли я ей что-нибудь прикрыться. А то там, где она находится, одни книжки да картинки в рамах, и ни зонта, ни плаща и ничего похожего она среди этого хлама найти не может. Номер, говорит, 241-б, вход через чердак.

Ну, через чердак – так через чердак. Номер только странноватый: дом-то был хоть и большой, но и квартиры большие, так что более 200 быть никак не должно, а тут 241 да еще и «б». Долго, однако, я об том не задумывался, как, впрочем, и о том, что это за «хлам» может быть в академической квартире после Клавкиной уборки.

Дождь выглядел из окна вполне убедительно, и я, изменив своему обыкновению начинать свободное утро с научных штудий под кофе, состоявших в изучении какой-нибудь пикантной статейки из дедушкиной Мед. Энциклопедии, тогдашнего образца порнографического жанра, единственного, если не считать Рубенсов да Тицианов в Пушкинском Музее да еще, может, необрезанную пиписку иудейского царя – там же, в Белом зале – взял его же, дедушкин то есть, старый зонт, которой он брал только в синагогу по Субботам, а так-то обходился в любую погоду, как и в тот день, одними галошами и шляпой, и пошел вдоль бесконечного нашего дома по Боброву переулку – кратчайшим, но при этом все-таки довольно длинным, путем. Шел, вдыхая свежесть майской грозы и вслушиваясь в двухтональный ноктюрен «на флейте водосточных труб» и ржавой жести низкого, по грудь карниза, окаймлявшего цокольный этаж по всему периметру здания.

Я вошел в парадное, одно из двух, разнесенных по краям фронтальной стены метров на пятьдесят, если не больше, пространством находящихся за ними квартир, знакомому мне по тому самому подпольному генетическому кружку, который я в тот год с малопонятным усердием посещал, привлечённый его свободным академическим духом. (Слово «подпольный» не должно тут читаться в прямом смысле, так как квартира, в которой он размещался, была отнюдь не в подвале, но в бельэтаже с окнами на бульвар. Впрочем, в отношении кружков прямой смысл этого слова никогда в не был в России привязан к их локализации, но лишь к статусу и режиму работы.)

Год уже стоял 62-й, благословенный, вейсманизм-морганизм как «продажную девку империализма» хоть и продолжали топтать, но лишь словесно, да и то как-то вяло, только по традиции больше. Лжеученые уже повозвращались, кто выжил, из мест перевоспитания и после четверть векового перерыва понемногу приступали, кто еще мог по здоровью, к работе в своих же прежних институтах и лабораториях.

Тем не менее некоторая конспирация в кружке традиционно все же присутствовала. На звонок выходила хозяйка, вежливая старушка «из бывших», и, осведомившись через цепочку, кто и по какому вопросу, доверчиво открывала любому; меня пускала по-соседски. Руководителем семинара был один старинный приятель покойного хозяина квартиры, а заодно и дедушки моего Абрамихалыча, по русскому студенческому землячеству в Цюрихе. Он тогда тоже, как и многие его коллеги, недавно вернулся с сибирских «курсов повышения квалификации» и пребывал в состоянии эйфорического трудового энтузиазма.

Парадная дверь открылась мягко и без скрипа, несмотря на то что была дубово тяжела и наверняка ни разу еще не смазывалась после 17-го года. И, что забавно, пропустив меня, самостоятельно так же мягко и закрылась; нашей-то и вообще незачем было открываться, так как была постоянно открыта и подперта камнем во избежание хлопанья. Лифт стоял тут на ремонте, но лестницы были такими пологими и обставлены такими перилами, что подъем на пятый этаж проблемы не представлял, а спуск по тем перилам и вовсе – истинное наслаждение.

Перила в доме «Россия» были великолепны, сродни его паркетам. Мореный дуб, покрытый оливковым лаком нигде не облупившимся, добросовестно отполированный за десятки лет наших глоссандо по широкому, мягкому от идеальной и очень соразмерной среднестатистической заднице кривизны желобу. А ступени со сглаженными гранями позволяли скользить на каблуках, как на параллельных лыжах.

Квартира «б» располагалась в мансарде под крышей, и парадная лестница туда прямо не вела. С площадки последнего этажа через полуприкрытую чугунную дверцу, тяжелую, как танковый люк, я вошел в сыроватую темноту чердака. После тишины и уюта просторной лестничной клетки ушам вернулся с удвоенной силой гулкий топот струй, пробежавших по косой крыше, где дождь на кровельном железе свою чечетку выбивал.

Почему так получилось, что вход в квартиру был не из лестничной клетки, но через этот безобразный спотыкач чердачных балок, перекалдин и вентиляционных труб? – мне и в голову

не пришло этому удивиться, ибо все в этом доме казалось осмысленным, естественным и единственно возможным, даже и такие топографические извращения.

Впрочем, крыши и чердаки этого дома были для меня после десятка лет постоянного лазанья по ним вполне обжитой территорией, и такой путь вовсе меня не смущал. Язык «подвалов без прикрас и чердаков без занавесок» мне был хоть и не родным, но любимым и тщательно изучаемым. Познавать его я начинал, как положено, снизу, то есть с подвалов. И очень рано, еще до знакомства с полуподвальным чисто выскобленным жилищем семьи дворника Хабибуллина, где ходили в толстых носках по плюшевым коврикам, таким же, как и на стенах, и пахло пирожками с кониной, привозимой откуда-то с Камы-реки, из дальнего города названием Сергач.

Еще до школы, когда я, идя за руку с нянькой в церковь и из церкви – старуха была богомолка и, «совмещающая приятное с полезным», каждый день тайком от бабушки водила меня к обедне – бесстыже и неотрывно глядел в зарешеченные окна, по грудь выстоявшие из-под земли, как распрямившийся от своей лопаты могильщик. Мой маленький рост позволял глазу охватывать значительную часть помещения, для чего взрослому пришлось бы лечь на землю или хотя бы встать на четвереньки. К занавескам там не привыкли, так как знали цену света, весь день ловили и собирали до последней капли, а по вечерам иногда забывали их задергивать; не с тем, конечно, небрежным изяществом, как та женщина в окне напротив, но просто не до того было.

В тусклом свете лампочки проступали сквозь пыльное стекло – а каким оно еще могло быть, располагаясь на уровне шагов и подошв! – неизъяснимые красоты этого экзотического быта: край стола с каким-нибудь супом, гороховым или щами, венский стул, нижняя часть шкафа, угол кровати... Кровать была обязательно железная с шариками, иногда на ней кто-нибудь находился, иногда что-нибудь происходило, непонятное и очень важное, как выглядело сверху.

Это воспламеняло воображение, казалось, что подлинная жизнь идет только там и выходит оттуда, и одна была мечта – когда-нибудь там пожить. Я не думал тогда, что в старости эта мечта осуществится – как остановка в пути к могиле, вероятно, – и от того, визуального изучения подвала перешёл к практическому постижению чердака.

В третьем классе соединили мужскую и женскую школы, прошел учебный год и наступила весна. Восьмое Марта не было тогда, как и 9 Мая, выходным днем, но – праздником мимоз. В школах и на улицах; я тогда ещё не знал про совпадающий календарно еврейский весенний праздник Пурим, день театра и карнавала.

Кутузова, с которой неделю назад учительница Анна Александровна нас провидчески посадила за одну парту, бежала, пыхтя и шваркая портфелем о ступеньки, по черной лестнице на чердак, я, задыхаясь, за ней. Там она скакала в пыли через какие-то балки и переборки, я, спотыкаясь – за ней, потом, прижавшись спиной в угол посветлее, где-то у слухового окна – пальто было уже расстегнуто – спустила до колен голубые, теплые не по погоде трусы, подняла свой школьный черный фартук вместе с платьем, и поверх изнанки задранного подола тупо глядела в потолок, как у доски при невыученном уроке.

Я был потрясен: там у нее действительно ничего не торчало и не висело! Только жалкая трещинка под розовой от постоянного чесания припухлости в самом низу, где живот, и так-то отсутствующий, совсем уже сходит на нет. Я знал, догадывался, что у девочек там, под юбкой скрыто нечто очень важное, почему-то запретное для глаз, чему нет названия, какой-то их аналог нашей пипки, но совершенно не похожий. Это волновало меня. И тут вдруг – ничего! Полное «сексуальное» разочарование.

Ответной демонстрации она от меня не потребовала; то ли в силу определённой девичьей стыдливости, то ли в виду полного отсутствия интереса, так как насмотрелась дома, у младшего братика.

Я признал свое поражение, вытащил из портфеля проигранный бутерброд, и она съела его, смачно чавкая, как и до того, при заключении этого пари, столь же плотоядно жевала на перемене свой собственный. Я и сам предполагал, что проиграю, но «лучше один раз увидеть...», и я рискнул бутербродом.

Так повторялось потом много раз – и каждый раз, как впервые, только цвет трусов чередовался с розовым, пока на Первое Мая не засек нас под лестницей дворник. В обществе таких же, как я, поклонников крутых перформансов с полными карманами выданных дома «праздничных денег», тут же переадресованных артистке на гонорар – «крем-брюле» в стаканчике и газировку с двойным. Вероятно, не без наводки младшего Хабибуллина, которого туда не брали, т. к. денег на праздник он дома не получал – татары наши праздники не праздновали. Дворник сигнализировал ее мамаше, но скандала в школе тогда почему-то не последовало. Всею свое время, как сказал бы тут Экклезиаст.

Дождь вдруг притих мгновенно, как по команде, и тут же попер изо всех щелей свет. Он лёг под крышей пластинами в разных плоскостях, сразу и сверху, и сбоку, и косо, встречающимися и пересекающимися пучками, создавая сложную световую графику в сверкании мельчайшей пылевой дисперсии, присущей воздуху чердаков. Увидав в глубине щель неплотно закрытой двери, я приблизился, толкнул и вошел в большой холл. За распахнутыми дверями просматривалось светлая комната, и там – кожаное кресло с потертыми отвалами спинкой ко мне. Над спинкой виднелся седоватый затылок, ощетиленный мягким бобриком тоже, как и кресло, какого-то потерто-белёсого вида.

– Стучаться надо! – прозвучало в ответ на скрип двери, вполне дружелюбным, впрочем, тоном.

Я сказал, что в открытую дверь не стучатся, туда ломиться принято. Вот я и вломился. И вообще я тут не в гости пришел, а только зонт принес для своей соседки Клавы. Она попросила его по телефону и ни о каких приличиях меня при этом не предупредила.

– Зонтик, это хорошо! Когда дождик, – и кресло с добродушным скрипом повернулось ко мне гладко выбритым, улыбающимся, тонкими губами, худым лицом с глубокими складками гладко выбритых щёк, свисающими по-бульдожьки по обеим сторонам рта. Это иностранное, в самом буквальном, не географическом, но чисто бытовом смысле, лицо стояло над приопущенной удивлённо толстой газетой с иностранным, в обычном смысле, заголовком готического шрифта: «Таймс». Впервые в жизни я видел вертящееся кресло, и к тому же такого добротного старорежимного вида; новых-то тогда еще не было или просто до нас не доходили. И такую толстую газету – тоже впервые. И еще я увидел перед собой – и даже узнал, как бы – героя не читанного мной тогда «Степного Волка», до русского издания которого было ещё лет десять. Живой Гарри Галлер сидел передо мной в кресле и говорил.

– Поставьте в угол, она заберет. А газеты не пугайтесь, в Аглицком клабе взядено.

Ну, час от часу не легче! Мало того, что газета пудовая, так еще и «клуб»! И еще этот говор не пойми какой: «взядено», «аглицкий», то ли стеб такой, то ли прямо из прошлого века к нам пересел вместе с креслом. В той шальной Москве ранних шестидесятых, да еще в этом доме с чертями на стенах, чего только было ни встретить! Теперь оставалось только ожидать, что наша Клава появится теперь с кухни в каком-нибудь викторианском чепчике, с чашкой чаю на подносе и пропоет с ихней постной улыбочкой ихнее дежурное «пли-и-и-з».

– Садитесь. Чай будете? – спросил между тем хозяин, и пророкотал во весь голос – Правило помните, Клаудиа? А на счет Английского клуба, так вы тоже не пугайтесь, ваш покорный слуга туда не ходит. А газетку тут один шпион знакомый оставил; вчера заходил, чаёк, как раз, принес. Который мы сейчас с вами, милый юноша, и попьём.

– Правило: уходя, поставить чайник! – отозвался с кухни вечно заспанный Клавкин голос.

– Пли-и-з! А теперь разрешите представиться: Давид Оскарович Дорндрейден, сокращенно ДОД, если угодно. Пока Вы сюда шли, она сообщила мне, что Вас по весне из гимназии

выставили, и Вы с тех пор ходите весь в расстройстве как в соплях, выражаясь на классический манер. Сочувствую. И за что ж это, позвольте полюбопытствовать?

Дурацкая история с поэмой на тетрадном листке чрезвычайно оживила Дода:

– Должен Вам сообщить, мой юный друг, что мало что могло бы так меня расторгать, как этот ваш рассказ. Вы не поверите, но он взбаламутил передо мной зацветшее болото моей собственной юности, о которой я, за дурным нагромождением последующих лет, уж и подзабыл. Меня-то ведь в ваши годы тоже, можно сказать, выгнали кое-откуда. С Родины т. е., извините за высокопарность. Но чтобы из гимназии, да еще из выпускного класса – такого у нас не бывало; только если за злостные колы! И медали, думаю, не лишили бы, если б заслужил-с. Но я-то ведь учился аккуратнo только в младших классах, а потом такое пошло – не приведи Господь! Но все, что нужно, успел: два классических языка, французский, немецкий, ну, английский – домашний, мамуля-то по-русски тогда ни бум-бум. Все это скрашивает кое-как убогость теперешней жизни. Вот, библиотека... А стихов этих я не помню, за которые Вас поперли. Как вы говорите, «Дом Поэта»? Строк, говорите, за сотню? Нет, не знаю, вероятно, позже написано. Я ведь всего-то не больше полугодика там пробыл, в двадцать первом году уже и смотался. А вот самого поэта, и дом его, и место помню и люблю. Сейчас вот и вспомнил, когда про стихи-то рассказали, как я это всё люблю. Вы мне эти стихи обязательно покажите – должны быть прекрасны, как и он сам. И как всё вокруг него! Это такое волшебное свойство бывает у художников – всё вокруг него становилось таким, как он это видел. То ли словом убеждал, то ли просто одним своим присутствием. «Семь пудов мужской красоты», как ни как – кажется, даже и на ЧК революционно-аскетическую действовало – роду-то она все-таки женского была!

Я сказал, что если чекист не бывает «бывшим», то и ЧК не знает слова «была». А он ответил:

– Все-то она знает, уж поверьте, и про вас, и про нас, и про всех... А вот женское свое окончание, может, и правда, что утратила, когда всю страну изнасиловала.

Мы пили Клавкин крепкий чай, и он рассказывал. Может, впервые в жизни, т. к. до того было некому, да и к слову не приходилось.

Окончив в девятнадцатом году классическую гимназию, Дод поехал, как полагалось, на год в Италию, отдохнуть перед университетом. Это был последний выпуск, а так как Ленин и все его наркомы перебрались уже в Москву, это был, вероятно, последний год, когда такое было возможно. Возвращался морем через Одессу. Но на борту получил от матери телеграмму, чтобы в Одессе на берег не сходил, а следовал бы этим же пароходом в Ялту, куда высланы ему деньги и письмо. Из письма он узнал, что ничего страшного в их доме не происходит, отец, в отличие от многих его коллег, нашел, кажется, общий язык с новой властью, но ему, Доду, лучше какое-то время переждать и там не показываться – везде облавы, аресты, и ничего не ясно.

В охваченной паникой ожидания большевиков, вчера еще веселой и беззаботной врангелевской Ялте, он спокойно дождался их прихода, но продавливаясь в переполненный, перегруженный выше ватерлинии пароход беглецов не стал. Но и в Москву возвращаться тоже было нельзя: он верил матери. Юность, однако, легка на подъем, и он отбыл с рыбацким баркасом на восток, думая пробираться через Кеч на меньшевистский, по слухам, Кавказ. В Судаче сошел на сушу и дальше продолжал на перекладных среди упоительных запахов впервые увиденной степи и с кисловатым вкусом крымского вина на губах. Татарин завез его на арбе в маленький приморский поселок с труднопроизносимым названием, похожим на какой-нибудь крымский сорт черного винограда. Он сказал, что там живет русский художник Макс, у которого можно переночевать.

Художник оказался и правда гостеприимным. Он жил со своей матушкой в просторном доме (том самом, из стихов, благодаря которым или которому я тут теперь сидел и все это слушал); или, может быть, просто казавшимся просторным, когда не было гостей. Они долго жи-

нали на веранде молодым вином и старым козым сыром – как раз подоспело свежее маджари, зато сыр такой выдержанный, что весь крошился под ножом – и наблюдали, как мрачнеет и растворяется в наступающей мгле профиль Кара-Дага: какое-то время, пока солнце было прямо за ним, оно четко вычеканивало на небесном перламутре его сложный контур, но потом оно быстро, не оборачиваясь, ушло в степь, на запад и оставило его замерзать и умирать во мраке.

Макс очень подробно расспрашивал о ситуации в Ялте. Он сказал, что по степи шарят какие-то банды, в Феодосии, по его сведениям, тоже беспокойно. И что вообще в такие времена, когда в красную каталажку угодить так же просто, как в море искупаться, не сыскать в обозримом радиусе более надежного укрытия, чем находящаяся по близости анфилада Лягушачьих и Сердоликовых бухт, куда отсюда всегда можно в случае чего быстро убраться. Там в гроте есть все необходимое, море пока теплое, полно мидий, и в третьей Лягушачьей есть пресная вода – легко найти по зеленым кустам среди скал. Утром он отвел Дода на тот на край поселка и поселил его у грека, у которого покупал вино. Это под самым Кара-Дагом. У грека была дочь.

(Когда я дотуда наконец доехал, я своими глазами удостоверил всю правдивость додиных описаний, включая и эту последнюю деталь. Старуха – а ей должно было быть больше шестидесяти, что только делает с людьми солнце! – рассказала вполне равнодушно, как о чем-то давнем и заросшем, что вскоре после додиного ухода явились из степи трое конных, спрашивали о нем, почему-то очень расстроились, что не застали. Зачем он был им нужен, она не поняла, а они не объяснили, вероятно, с кем-то перепутали.)

Чтобы хоть как-то оправдать столь дальний бессмысленный приход, они её изнасиловали, а потом, на прощание, отмахнули ей саблей грудь, что, впрочем, не помешало оставшейся выкормить рожденную после тех событий двойню. Выкормыши те, непохожие, потом тоже сбежали – морем при депортации греков. Отец жив, но ему сто лет, и он вряд ли он помнит больше, чем она.)

Дод ушел тогда не на запад, а прибрежными степями в Керчь, верный своему первоначальному направлению и библейскому обычаю ходить на запад через восток, как шли из Иерусалима в Египет в обход Мертвого моря. Феодосию, где, по сведениям Макса, ходившего туда раз в месяц, стояла 1-я Конная, и каждого с гладкой мордой брали на улице, Дод, как и велено было, обошел с севера, в город не заходя.

(Потом он всю жизнь очень о том сожалел и теперь настоятельно рекомендовал мне посетить ее за него, когда попаду в Крым. Я сказал, что бывал там каждое лето с мамой, и могу хоть сейчас нарисовать контуры коктебельских бухт и расположение скал, не говоря уже о знаменитом профиле Кара-Дага, но Феодосию знаю плохо, и рекомендации непременно последую. Моё признание сразу очень сблизило нас тогда.)

В Керчи он устроился помощником кочегара на пароход, с которого сошел в Батуме. Оттуда, гувернером в богатом русском доме, попал через Истамбул в колчаковский Харбин. Там, получив расчет и спустив его в харбинских борделях, нанялся стюардом до Сан-Франциско. Актерствовал в начинающемся Голливуде. Потом, продвигаясь на северо-восток, валил лес на Мичигане. В Новой Англии работал тренером в теннисном клубе.

Закончил странствие в тюрьме штата Мен, схлопотав три недели при усмирении уличных беспорядков, именуемых Первомайской Демонстрацией Трудящихся (хоть и без поножовщины, но с таким, по случаю сухого закона, солидным мордобоем, что красным цветом пролетарской революции были помечены даже и некоторые из наблюдателей). Вероятно, в таком, безобидном варианте настигла Дода несбывшаяся феодосийская кутузка.

Этот последний эпизодик вряд ли задержался бы в биографии, если бы судьба тут не дала, как в крокете, два неожиданных виража, один отрицательный, другой, вышедший из первого, положительный. Первый, это когда попал по пустякам, он едва не загремел за бродяжничество из-за просроченного документа. И второй, это когда в тюрьме – и только благодаря тюрьме –

нашел его, наконец, некто, рассказавший ему, что все гонорары отца, включая премии, переводятся по его просьбе, на счет матери в рижский банк, где Дод значился как второй получатель. Господин тот дал ему денег и поручительство, необходимое для продления паспорта, и Дод сразу же туда и устремился; пока не поздно, как он надеялся. А то война уже поджигала в разных местах Европу, и ее будущее терялось в ее дыму.

Но в нейтральной Риге ему не повезло: одновременно с ним и ему навстречу туда вошла Красная Армия, он был интернирован как подозрительный элемент – то ли английский шпион, то ли белобандит, то ли латышский националист, то ли всё вместе – и в телячьем вагоне возвращен на родину. В Москве задержался ненадолго – война догнала и там, и всю их пересылку зачем-то спешно эвакуировали на восток; вероятно, чтобы в случае чего это национальное достояние не дай Бог врагу не досталось.

Там, в Тунгусской тайге он провел двенадцать лет вблизи от своей ссыльной сестры, о чем успела написать ему до ареста мать, и потом напоминал в каждом письме отец. Сама же сестрица ему на его письмо так и не ответила; может, не дошло. Опыт Мичиганского лесоповала весьма ему тогда пригодился – на родине работал уже бригадиром.

В суматохе пятьдесят второго года вследствие какой-то путаницы в списках Дод попал в мутный паводок Ворошиловской амнистии и однажды с веселой толпой бытовиков и уголовников выгрузился в Москве на Казанском вокзале. Ему тоже, как и всему тому, заблудившемуся в сибирской тайге веку, пошел шестой десяток от роду, и у него не было даже узелка за спиной.

Вот и вся вроде биография в формате «краткого курса». Дальше была уже не жизнь, но скорее отдых от жизни. Главным «природным ресурсом» этой новой жизни стал бездонный ящик отцовского стола с ворохом писем, полученных его матерью на протяжении всех этих лет от ее шотландского родственника дяди Майкла.

А на деке стола стоял фотографический портрет адресата тех писем, прелестной Рэйчл в молодости, сделанный ещё английским фотографом в бриджах перед самым ее отъездом перед отъездом. И еще один, последний, от тридцать восьмого года, незадолго до ее ареста за шпионаж в пользу графства Кент. Два образа стояли рядом, и дистанция между ними почти сорок лет, и трудно было определить, который прекрасней.

Последняя карточка была сделана для девяностолетнего дяди Майкла по его просьбе, и был уже даже надписан конверт. И в конверт вложено письмо с подробным описанием всей тогдашней обстановки в Москве. Маминым почерком, похожим на нее самое, и легким, и густым вместе, остерегшим его раз от опрометчивого возвращения из Крыма и с тех пор неизменно настигавшим его во всех его странствиях.

Письмо то не было отправлено – то ли в связи с ее арестом, то ли с тем, что подоспело как раз тогда известие о смерти дяди Майкла; спросить было тогда некого, так как дом был пуст. Отец оправил портрет в рамку и смотрел на него до самого своего ареста. С собою не взял, чтобы жена ждала его дома, как полагается.

Дядя Майкл, или Мозес, как его звали на английский манер в Палестине, был когда-то пастором мессианской общины в Глазго, потом восстанавливал эту древнюю веру на ее родине, земле Благой Вести и ее Апостолов. Он вырос в ортодоксальном еврейском доме в Шотландии и получил серьёзное религиозное образование в Галиции в ешиве какого-то очень крутого раби, как определил ее Дод. Там заразился мессианством и, вернувшись домой, создал свою общину под патронажем Англиканской Церкви – он увлек их своей идеей миссионерства на Святой Земле. Там он был первым, кто ввел иврит в христианскую богослужебную практику, чем вызвал большой и неоднозначный интерес среди тамошнего религиозно-философского истеблишмента – от иерархов до святых старцев-отшельников.

За сорок лет своей миссии в Палестине он изъездил ее вдоль и поперек, узнал и полюбил эту землю чрезвычайно, и для записи своих наблюдений и мыслей нашел самой адекватной формой эпистолярную. Его адресатом была нежно-любимая племянница Рахель, с которой

они одновременно покинули Остров: он – в Палестину, служить, она – с русским мужем в Москву, просто жить. Там она пережила революцию и тоже теперь имела, чем поделиться. Так и переписывались, не спеша, пока один из корреспондентов не умер скоропостижно, а другую, как раз из интереса к этой переписке, забрали на Лубянку; благо, что по соседству.

Под катившийся от Чистых Прудов благовест Антиохийского Подворья Дод как бы проникал сквозь эти письма – и проникал! – к античным родникам свежего, первородного откровения, еще не высушенного в тысячелетней затхлости Церквей и чистым, как простой английский язык, которым они были написаны. Он чувствовал при этом, как пробуждалась при этом внутри него, оживала, как кости на кладбище, классическая древняя культура, пролежавшая там два тысячелетия, и как, по слову пророка её мертвые кости вдруг восстают и обрастают словесным мясом.

А спустя месяц-полтора вернулся с Лубянки отец. Полгода он сидел там под следствием по делу врачей и уже не надеялся преодолеть когда-либо обратно эти два квартала, отделявшие его от дома; можно сказать, родного, где прожито больше пятидесяти лет. Тюрьма, однако, так подкрепила неожиданно его начинавший уж было сдавать дух, что и свидание с сыном после тридцатипятилетней разлуки пережил, и еще почти на десять лет жизни хватило.

– В прежней жизни мы с ним не были особенно близки – вспоминал Дод. – Он все в лаборатории своей пропадал, а я сначала с гувернерами, потом с друзьями. С мамой – да, а с ним только по Воскресеньям за обедом.

В последнем классе я присоединился к открытому философскому семинару в Университете. Шел ведь тогда Серебряный Век, и он был не только в поэзии – он был во всем. И только совсем уж ленивый не тянулся тогда к философии, они с поэзией тогда переплелись и ходили в обнимку как две гимназистки.

Пушкинское солнце зашло окончательно, постепенно погашены были на русском небе все отсветы его заката, и тут, из мрака восьмидесятых, взошла луна «девяностых» и из-за горизонта поймала его золотые лучи, и бросила, как нищим монетку, их серебряный отблеск. Вышел месяц из тумана! Что-то такое, кстати, прошло и по Европе тогда же – то была общая луна, так же, как и общая была потом под той луной война.

В общем, лет двадцать продержалось, пока снова не начали затаптывать, на меня еще хватило; сейчас-то, думаю, и на десять не натянет... Да, и жизнь стала тогда пробуждаться Луной, и все пронизал ее серебряный магнетизм. И наследники бывших солнцепоклонников ходили теперь, как лунатики по крышам – глядя вверх и от этого часто падая вниз. Потом большевики ловко воспользовались этим нашим лунатизмом, а пока мы все пропадали в разных кружках, семинарах, обществах, ассоциациях.

В том университетском философском семинаре я неожиданно встретился с собственным папашей – он возглавлял там естественнонаучную секцию. Однако мы там были в разных идеологических лагерях, и сближения на этой почве не произошло. Поэтому, когда я оказался в отлучке больше, чем на тридцать лет, и контакты наши вынужденно прекратились вовсе, я особых изменений в общении не почувствовал; может, даже в чем-то оно и активизировалось письмами. Во всяком случае, получило новый смысл.

А когда был перемещен с запада на восток, и «право переписки» перешло в режим нелегальности, это наполнение достигло плотности туго исписанного клочка бумаги, продавленного сквозь тюремную проволочную решетку. Но зато уж как вернулся! Да как еще и он потом вернулся!

Десять лет они были втроем: Дод, отец и библиотека. Двух только лет он не дождал до ста; жаль, была бы дата. Помер при полном девяностосемилетнем здоровье и в ясном сознании. Успел даже через Академию выправить сыну прописку, что вселило в Дода робкую надежду, что в ближайшее время – оставшееся то есть – из дому, может, и не турнут. Он за эти годы

очень сблизился с отцом, и эта смерть стала самой большой потерей в его жизни, с ранней юности целиком из одних только потерь и состоявшейся.

Мы открыли окна – их было три – и комната наполнилась роскошными сиреневыми сумерками: был месяц май, и запах сирени по вечерам воцарялся над городом. Дождя больше не было. Чайник, принесенный Клавой перед уходом, уже несколько раз остыл. Все это время Дод, растроганный тем, что перед ним человек, только что реально, хоть и по-детски, пострадавший за его полузабытый Коктебель, всё рассказывал, рассказывал... – воспоминания лились из него широкой струей, как густая крымская Массандра из наклоненной амфоры.

Я не очень понимал, какая может быть у этого красивого, пожилого человека нужда в таком бессмысленном собеседнике, как я, но вида не подавал. Держался важно и, как мне казалось, достойно, чтобы какая-нибудь случайная пауза не намекнула ему, что пора бы и спровадить незваного гостя. Для пущей важности вертел головой по сторонам.

Стены были уставлены книгами, как в букинистическом магазине. В свободных местах и между окон висели небольшие картины в старинных рамах, их содержание было неясно из-за приглушенного колорита и полумрака в комнате. Потом, когда зажгли свет, я увидел, что это, по большей части, старые шотландские пейзажи и голландские натюрморты. Такое убранство стен почти полностью скрывало обои, к тому же такие линялые, что рисунка, да еще при этом освещении, не разобрать. Я только уловил по каким-то очертаниям, что он там другой, не такой, как был принят в наших казенных квартирах. Как и розоватый фон в отличие от нашего серого. Встречались проплешины на местах проданных картин – Дод жил на это, как он объяснил, заметив мое, вызванное теми проплешинами, удивление. И добавил:

– Книжки тоже разрежены, просто не так заметно. Жаль, конечно, и стыдно немного, но родители с детства приучили нас не только к хорошему чтению, но и к нормальному питанию, и меня никакие лагеря не смогли отучить. Вот за это излишество в воспитании они и расплачиваются теперь с того света своими вещичками, что на этом. Впрочем, чем книги лучше картин? На эти хоть смотреть можно, а книги – пусть теперь кто-нибудь еще почитает. Вот «Брокгауз» этот меня тут перестоит, это уж я Вам обещаю!

«Вам обещаю» мне почему-то понравилось, и мой глаз прошелся глиссандо по восьмидесяти, или около того, сверкающим корешкам с золотым тиснением. Я спросил его о Романе – его тогда читала вся Москва; та, которая читала. Интересно, что остальная сотня миллионов потребителей русской словесности, из тех, что вне Москвы и Питера, те тоже что-то там себе читали, но такая литература до них не очень-то доходила и почему-то не очень-то среди них распространялась. «Самиздат», правда, находился тогда еще в ясельном состоянии, но и потом, когда он вырос и окреп, все равно за стены Белокаменной высывался редко. Скорее всего, в провинции его быстрее давили – там это было поудобнее, чем в столице, и были другие правила игры; правда, и псы по мере удаления от матери-Лубянки несколько теряли в борзости, и зайцы матерели.

А скандал тем временем продолжался уже не меньше года, то затухая, то вновь разгораясь, по каким-то своим, метеорологическим законам. Везде шушукались, как всегда, в «Новом Мире» рассыпали набор, газеты молчали, автор нигде не появлялся, как прокаженный в карантине. Говорили, что рукопись уже на Западе, и Толстовский Фонд уже подготовил ее к изданию, и переводы на подходе, и все ждет только ареста автора, чтобы закрутиться. Я получил рукопись, пятую копию на кальке, от Полины – а ей, конечно же, подсунул с какими-то дявольскими намерениями ее лукавый папаша – читал с замиранием сердца, но поговорить было не с кем, посвященных вокруг не было.

– Да – говорит, – читал. Это читал, как же можно не читать? Это какой-то особый язык – литература для меня начинается и кончается языком, больше я ни в чем толком не волоку – ... да, так вот такой язык, которого нет и никогда не было в России. Он то ли родился в изгнании, то ли изгнан был сразу по рождении. В общем, от Бунина много, но куда-то вглубь.

В самую глубину, сердцевину слова. Владимир Набоков, Марк Агеев, может быть... В основном, конечно, Набоков. Я его там еще читал, по-русски и по-английски. По-русски интереснее почему-то. Досюда не дошло пока, но теперь, при таком Самиздате-то, обязательно дойдет! И совсем скоро, думаю, Бунин прорвался же!

Там всё очень точно, пристально, никаких соплей, слово – как капля воды под микроскопом, и работает на износ. И каждый квадратный сантиметр текста сверкает как изразец на мечети в Самарканде. Вы, кстати, не были в тех местах? Обязательно съездите при случае. Я в прошлом году ездил, пока еще отец был жив, и пенсия шла. Незабываемо. Я еще тогда собирался, да вместо этого в Италию уехал, а потом – сами понимаете... А то бы, может быть, до сих пор где-нибудь там, в Афганистане с басмачами чай гонял да маком промышлял. Вот теперь с вашей подачи Коктебель вспомнил, потянуло! Может, Бог даст ещё...

Да, так мы от романа отвлеклись. Престранная, знаете ли, штука! И хорошая порция здоровой злости. Злость, когда она здоровая и без истерики, может быть очень даже плодотворна. А ребят я таких встречал уже после войны (это о главном герое романа, сыне репрессированных родителей, выросшем в спецлагере). Мне показалось, что среди зеков эти были лучше всех адаптированы; не считая урок, конечно. Может, это потому, что они выросли там, и прошлое не так на них давило, как на посаженных взрослыми. Людей ведь сажать, что деревья – один закон. Мысль, может, и не глубокая, но зато и не новая. А те, что там родились, или хотя бы в ссылке, это еще более крутая порода. Вот, познакомитесь еще с моей племянницей новоявленной – вот это, скажу я вам, экземпляр! Не приведи Господь! Но это вообще особая такая контра, троцкисты-ленинцы. Из них стукачи хорошие получаются, честные, бескорыстные.

Действие романа начиналось в тридцать восьмом году и проходило в знаменитом АЛЖИРе, Акмолинском Лагере Жен Изменников Родины. В детском отделении лагеря двенадцатилетний сын недавно расстрелянного секретаря ЦК узнает, что в женском отделении умерла на работе его мать, с которой они были вместе туда помещены после ареста отца.

По причине высокого положения отца мальчик с самого начала встретил там крайне неприязненный прием со стороны детского коллектива. Все иерархические отношения партгос. номенклатуры сохранены в том запроволочном зазеркалье в точности как на «воле», но только в перевернутом с ног на голову виде, а такие категории, как месть и восстановление попираемой на воле справедливости, имеют там определяющее значение и обострены до предела.

Теперь же после смерти матери – хоть и оторванной, но все же существовавшей рядом и тем уж одним как-то поддерживавшей – мальчик остается один на один с Большой матерью, Родиной. Это усугубляет его сиротство до полной безнадежности, и в то же время распяляет групповой садизм его товарищей по бараку. Жизнь проходит в сплошных страданиях и унижениях.

Однажды после отбоя, скрываясь от параша и прочих издевок своих товарищей, он забирется на чердак. Когда глаз привыкает к темноте, он замечает довольно широкую щель в полу, сквозь которую пробивается свет, и слышны какие-то звуки. Он ложится на пол, прикладывает к щели глаз и видит под собой знакомую ему «Пионерскую комнату», и несколько воспитателей как-то странно общаются между собой среди горнов, барабанов, щитов с лозунгами и гипсовых вождей. Приглядевшись, он догадывается, что это пьяная оргия, в испуге хочет убежать, но не может оторваться от зрелища.

В конце концов они его замечают и, выломав доску из перекрытия, вываливают к себе вниз, на «свет божий». Вместо того чтобы удалить свидетеля, они делают его центральным объектом своих забав, употребляя самым противоестественным образом. А потом мальчику дали ясно понять, что деваться ему от них теперь некуда, так как он слишком много знает. Постепенно это стало его жизнью.

На него обращает внимание хозяйка помещения, вдохновительница и душа собраний, старшая пионервожатая тридцатилетняя Марина Васильевна, пылкая, страстная натура из первых пионерок. На фоне нереализованного материнского инстинкта в ней неожиданно пробуждается дремлющая доселе нимфомания и поглощает ее всю без остатка – между ней и нынешним «юным пионером» неожиданно вспыхивает роман. Диспропорциональный, нервический, неловкий какой-то, как бывает всегда в таких возрастных сочетаниях; они были при этом одного роста и выглядели почти ровесниками. От нее он узнает о своем отце то, что он бы не узнал ни от кого другого, и, может быть, лучше, чтобы не узнал.

В Москве ещё догуливал НЭП, ей пятнадцать лет, как и ему теперь, и она работала в парикмахерской уборщицей. Возвращалась поздно с работы и была изнасилована у себя же во дворе местными хулиганами. Один из них жил в соседнем парадном, и она его запомнила. Они после того еще долго шумели на шалмане, и ЧК их без труда вычислила и в ту же ночь всех повязала.

Она забеременела, но вовремя этого не поняла, упустила время и не успела принять меры, как это бывает с девочками. Поздний аборт едва не свел ее в могилу от кровопотери. Новая кровь, перелитая от анонимного донора-комсомольца, вернула ее к жизни и привела в Пионерскую организацию, где она с головой ушла в обострившуюся покушением на жизнь вождя, классовую борьбу.

Он же, сосед, после оказания неоценимой помощи следствию, и года не прошло, как очутился по другую сторону решетки – сообразительные ценятся везде, а вхожие в среду особенно. В Органах ему выправили чистую анкету, и вскоре он попал на партийную работу. Карьеру, стремительную даже по тем временам, сделал именно там, а не на Лубянке, что впоследствии на пару лет продлило ему жизнь; можно только вообразить, что он за эти пару лет понауспевал, и тоже в контексте того особого времени. Начал с работы в Московском партактиве по молодёжным бандам, она там занималась беспризорниками. Они при встрече узнали друг друга, и она его простила.

Ему выделили большую квартиру в доме «Россия», и она носила туда отчеты. Чаше, чем надо. Потом его перевели в аппарат, а оттуда уже арестовали и расстреляли. Оставался бы в партактиве, может, и не расстреляли бы, но в НКВД точно бы расстреляли и как минимум на год раньше. Марина, если бы была тогда в Москве, конечно же, пришла бы в дом «Россия», чтобы похлопотать о сироте, так как жену взяли вместе с ним. Но она тогда уже была далеко от Москвы, тут в Караганде, по комсомольской путёвке.

По реабилитации автор приходил в дом «Россия» и посещал там бывшую свою квартиру, из которой был некогда изъят, и это рельефно оттенило описание его личными впечатлениями. Квартира была, конечно, вся заселена заново, а в отцовском бывшем кабинете, где он принимал Марину с отчетами, самой большой комнате с лепниной на потолке и окнами эркером, жил один старый, недавно овдовевший еврей, врач академической поликлиники, что в соседнем корпусе, и с ним его двенадцатилетний внук.

Но производственные романы почему-то, как правило, не долго держатся в тайне от сослуживцев; а уж такой-то, наглый как фурункул, да в таком-то, не самом укромном, месте – и подавно. Фурункул прорывается наружу, и любовники, спасаясь от гнева начальства, бегут в степь. Как библейская Агарь с ее сыном Ишмаэлем, только эти бегут по собственной инициативе. (И возрастная разница, кстати, такая же).

В степи – голод и свобода. Они пристают к табору гималайских цыган, кочующему на запад. Там случаются у Марины преждевременные роды, и она умирает от кровотечения – было ей, вероятно, предписано умереть от родового кровотечения, и эта смерть её, хоть и с пятнадцатилетней отяжкой, таки настигла. А выкинутый ей при этом недоносок выживает, и цыгане откармливают его кумысом ворованных лошадей. Сам же герой вынужден «работать», как все, то есть промышлять кражей скота у казахов.

Как-то раз, преследуя отбившуюся от стада козу, он встречает человека на осле. Тот говорит, что хватит ему цыганить и побираться, а надо пробираться в Москву, где живет его тетка, младшая сестра матери, у них прописанная. Она осталась в квартире после их ареста и уплотнения соседями, а теперь, по случаю войны и эвакуации, она из своей каморки при кухне переселилась в большую комнату с окнами во двор. Контора ей покровительствовала, и приезжие с фронта сотрудники иногда полуофициально у нее останавливались.

Он назвал адрес: дом «Россия»... Сына пусть тоже берет с собой, цыганам не оставляет. Из того, что встречный знал про сына, герой заключил, что это ангел, которого прислала Марина, как обещала в предсмертном бреду – кому еще было знать такое?

В дороге выявляется его полная беспомощность в нормальном быту поездов и вокзалов, так как весь его бытовой опыт ограничен детским концлагерем и степным кочевьем. Пищу приходится добывать попрошайничеством и воровством, но теперь уже не заблудших коз, а «по майдану и на кармане». От этого с ними приключаются разные опасные приключения, но ангел, по-видимому, их опекает: как будто принц, сбежавший из дворца, заблудился на базаре, а верный телохранитель приглядывает за ним исподтишка. Роман, кстати, так и называется – «Принц», вероятно, в насмешку над псевдоэлитным происхождением героя.

В родном, незнакомом городе они отыскивают этот дом и в нем – молодую и красивую тетку по матери. Она в возрасте Марины и похожа на нее, как двойник, ему даже кажется поначалу, что это она и есть. Она смущенно предупреждает, что у нее гость, и в комнате их встречает тот ангел из степи. На нем синие галифе, а на гвозде висит его фуражка с синим околышем, эта форма хорошо знакома герою.

Ангел говорит, что у входа стоит машина – как это они не заметили! – она отвезет на Лубянку, это в двух шагах, там уже выписано казенное довольствие, и сейчас там как раз ужин разносят; ему ведь сегодня исполняется восемнадцать лет, а это значит, что всё теперь пойдет по взрослому разряду. Младенец остается на попечении тетки, она имеет опыт. «Голод и тетка» – называлась эта последняя часть.

Роман был, конечно же, автобиографическим – хоть и от третьего лица, но без имени, просто «мальчик», но эта биографичность была так плотно упакована в сюжет, что о ней можно было только догадываться по совпадению узловых моментов: АЛЖИР, эпоха, родители и, главное, дом «Россия». По жанру он был определен как поэма, что было связано, вероятно, связано со средоточием действия вокруг одной судьбы, исповедальном лиризмом повествования, хоть и не прямым, скрытым, но осязаемым как обертон, и осевой темой дороги.

Написано это было в отстраненном холодноватом тоне без длинных рассуждений и авторского морализирования – только сплошная лента событий, иногда вроде случайных, не состыкованных, не всегда хорошо пригнанных, как в жизни, но неизменно связанных внутренней логикой, как в романах. И притом что масштабы описаний в основной части, где про степь и про дорогу – классические символы широты и протяженности – были пространны и свободны, никаких претензий на большие обобщения, открытия, и всего того, что предназначено для превращения беллетристики во «внеклассное чтение».

Речь повествования ровная, спокойная, без срывов и повышенных тонов, свойственных псевдо-исповедальному жанру, который часто использует автобиографические сюжеты. Всё легко и как бы по-детски наивно, все подтексты оставались именно под текстом, где им и положено быть, не навязывались и в поле зрения не лезли. И, что странно, на всех трехстах листках на кальке теснейшего набора ни одного абзаца прямой, прокламационной антисоветчины – звуков так жадно, так нежно ловимых нами тогда – хоть между строк, хоть как! Правда, «советчиной» пахло ещё меньше.

Всё это вместе и делало в Додиных глазах книгу «престранной штучкой», и было по тем временам вполне достаточно для самой жесткой административной и общественной травли. После опубликования «Новым Миром». Но пока вопрос с опубликованием вентилировался в

Цензурном Комитете (ц.к.), экземпляр рукописи ушёл в Самиздат, оттуда просочился на запад, уставший от неопределённости автор дал согласие, и теперь заграничное издание уже самим фактом своего существования тянуло на статью – «измена Родине» и никак не меньше.

Завершить, однако, свое суждение о книге Доду тогда не пришлось, так как он увидел, что внимание единственного слушателя внезапно переключилось со слуха на зрение: это отворилась дверь и в комнату вошла Полина. Она была с кошелкою в руках. Впервые, кажется, в жизни видел я свою любовь без черного фартука. Неприкрытое фартуком гимназическое коричневое платье выглядело как-то вызывающе, почти порнографично: как бы процесс (раздевания), хоть и только что начался, но все-таки пошел и уже необратим.

Мы не виделись с ней около трех месяцев, с того дня, как я перестал ходить в школу, это много. А учитывая, что и до этого дня, после того самого новогоднего звонка из Пахры, мы встречались только формально и только в школе, то и вовсе целых полгода, получается. А это уж и вообще такой срок, что можно говорить об отвыкании; во всяком случае, с её стороны. Одна случайная встреча на улице никак нашу разлуку не разбавляла, тем более что тогда рядом с ней маячила наглая морда Мордовца, и особого желания возле них задерживаться у меня тогда не возникло. Только теперь, ее увидев и почувствовав при этом сосущую тоску в желудке, а он у меня на все реагировал первым, я осознал, как сильно мне ее не хватало все это время.

– Вот, познакомьтесь: моя Авишага, – сказал Дод, широким жестом указывая на Полину и отмечая с тоской, как вытянулась моя морда гримасой непонимания.

– Объясните ему, Дод, у нас, в десятом классе этого не проходят, – сказала со всей возможной язвительностью Полина, на меня при этом даже не взглянув.

– Мне-то откуда знать, что там у вас проходят? – парировал я довольно лихо, но вероятно, судя по последующей реплике Дода, все-таки покраснел.

– А она вот уже знает, хоть и тоже не читала. Подозреваю, что даже больше не читала, чем Вы. Но она – другое дело! Она же играет эту роль – Авишаг то есть – а где это видано, чтобы примадонна еще и читала! А смущаться вам тут нечего: смущение если уж тут кому и пристало, так это только мне одному – как при той прекрасной Авишаг дряхлому, нелепому Давиду (мое полное имя, между прочим). Ибо сказано: Девица была очень красива, и ходила она за царем, и прислуживала ему, и лежала с ним. Но старик был уже не согреваем, ибо холод смерти уже вошел в его тело. Ну, кажется, объяснил в общих чертах; специально ведь в памяти освежал по тексту – и он кивнул на свою «Библию Короля Иакова» на столе.

Полина сказала буднично, обращаясь к Доду, что купила чайной колбасы, и можно выпить чаю. (Боже, при чем тут колбаса? И какой чай? И что она вообще тут делает?) Я ждал, пока она и мне что-нибудь скажет или хотя бы посмотрит в мою сторону, чтобы мне зацепиться, с чего начать. Но откликнулся первым Дод.

– С чаем мы уже разобрались с Клаудиной помощью, а под колбаску твою не выпить ли нам лучше водки? В дождливый день что может быть лучше водки!

– Лучше водки может быть много водки, – угрюмо пошутил я где-то услышанным.

– О, ты слышишь, Полли, что говорят серьезные мужи! – сказал весело Дод. – А ты сколько водки нам принесла, много или мало?

Она молча, вынула из кошелки четвертинку и с вызывающей улыбкой поставила на стол. Такого оборота старый Дод не ожидал.

– Вот так да! А говорили, гимназистам не отпускают! Или к гимназисткам это не относится? А откуда это случается у гимназисток рубь с полтиной на такое дело, позвольте полюбопытствовать?

– Рубь тридцать девять, – поправил я для важности.

– От вчера осталось, когда по жировкам платила. Сдача.

Я никогда не понимал, почему коммунальные счета назывались так неблагозвучно, как будто что-то засаленное, и может поэтому, от «жировок» тех в ее устах, сделалось еще более

неприятно, чем от смачной, пахучей «колбасы». Повеяло включенностью ее в какой-то чужой быт, и мне там не было места.

– Вот как нынешние гимназистки сдачей распоряжаются – недурно! – провозгласил не справившийся еще со смущением Дод.

– У меня сегодня приобретение, – загадочно сказала Полина и положила рядом с четвертинкой новенький паспорт с липким запахом коленкора. Посмотрела, наконец, на меня, с вызовом, который принять ума моего не хватило, конечно. Вспомнилась та новогодняя ночь, ее день рождения. И я спросил:

– Чего так поздно, день рождения-то вроде под Новый Год был, а тут уже май на середине!

Она снова посмотрела на меня с укором, но теперь уже с примесью презрения:

– А на даче валялся. С Нового Года как раз, когда и получила.

Я сразу вспомнил тот роковой вечер, когда выпустил из рук жар-птицу, и засосало под ложечкой. Она же тем временем продолжала, как ни в чем ни бывало, без паузы:

– Отец привез, я вчера с ним обедала. Так что можно теперь обмыть с опозданием. И отметить начало моей самостоятельной жизни. Кстати можешь имя проверить – замуж уж буду Аполинарией выходить. Официально.

– Ага, «замуж, уж... только невтерпеж осталось»? – поиграл я на слогане из курса грамматики пятого или шестого класса. Дод рассмеялся:

– Нет, положительно, этот юноша послан мне судьбой, чтобы напоминать о далеком прошлом! То Коктебель, то, как теперь – вообще нечто гимназическое. В наше время тоже ведь была такая орфографическая поговорка (это его «орто-» звучало архаично и важно, как какой-нибудь Теодор супротив Федора). А вы что же – знакомы, как я вижу? Ну, конечно, как же я сразу не догадался – в одном доме, в одних годах. Я, кажется, тоже в вашем возрасте всех барышень тут знал наперечет («точнее, на перещуп», подумал я злобно), хоть и в гимназию ходил отдельную.

– А мы в общую ходили, – насмешливо сказала Полина. – И вообще...

Она подошла к венецианскому шкафчику красного дерева с хрустальной дверцей в медном тонком переплете и на кривых, как у Мойдодыра, ножках, и уверенным жестом, чем вызвала повторный прилив моей ревности, достала оттуда три стакана тоже какого-то музейного вида.

Впрочем, в этой квартире всё казалось мне «музейного вида»: и шкафчик, и посуда в нем, и бюро, и кресла, и это старинное пианино с канделябрами. И всё это, к моему расстройству, было так же ей привычно и естественно, как мне – пыльный чердак за дверью. Разница лишь в том, что мое имение на чердаке вечно, а это все, находясь пока вроде бы и на своих местах, было в то же время выстроено уже в очередь на продажу, и оставалось только решить судьбу бронзовых канделябров на пианино – то ли отвинчивать и запускать отдельно как цветмет, то ли пойдут в свой черед в комплекте с родной деревяшкой.

Где-то в глубине зазвонил телефон, и она со всей домашней непосредственностью побежала снять трубку, как будто ждала звонков в этом доме; или, может, силы берегла старичку для чего-то более важного, чем к телефону бегать.

– Дядя, это Вас, – крикнула она оттуда.

Когда Дод встал, наконец, со своего кресла и бодро зашаркал прочь, я увидел, как декоративно висит на прямом крестообразном теле старый джемпер с протертыми локтями, и как простодушно пузырятся штаны на коленях. Тощий, торчащий среди разбросанного в пыли антиквариата, после романтического чердачного портика он выглядел затерявшимся в пыли времен последним платоником на фоне развалин Афинской школы.

Вошла Полина и прыгнула в его кресло, как в свое.

– Теперь спрашивай свой вопрос – это надолго. А потом он сразу уйдет, можешь радоваться.

– Откуда ты знаешь?

– А я знаю этот голос, изучила за два месяца. Он с ним говорит, говорит, а потом отправляется на бульвар, проветриться. Вот, послушай, тебе как раз будет. А я пока пойду за кофе схожу к соседке – надо кофе выпить, а то спать охота.

– А ты что, уже и с соседями тут освоилась?

– Это одна старушка академическая, которая Дода с детства еще помнит. Матери его подружка, представляешь! Теперь если что надо, так он меня сразу к ней посылает, она всегда рада. Я быстро, это в соседнем парадном.

– Не иначе, как мой кружок, – подумал я, – там как раз жила подходящая старушка.

Она пошла на кухню ставить чайник, оставив за собой открытую дверь, чтобы мне было лучше слышно от телефона. Я обернулся. Телефон был почему-то не где-нибудь на столике рядом с «покойным креслом», как это принято в хрестоматийных академических логовах, но висел черным огнетушителем на стене у входа/выхода, прямо как у нас в коммуналке. И Дод ходил туда-сюда как кот-ученый на цепи, то оттягивая шнур, то наматывая на палец – тоже, похоже, как я тогда, перед Новым Годом; на позе, однако, и заканчивалось. Говорил он громко, чуть грассируя, старомодно растягивая слова по талии, речь была гладкой и лилась полным горлом.

– Да ну, помилуйте, ну какая победа! – тут я вспомнил, что назавтра ожидался День Победы. – Для победы, у меня есть один критерий – размер потерь. Человеческих. А тут своих солдат было положено втрое больше, чем врагов! А когда в первые месяцы два миллиона пленных – это что? Все трусами были сначала, а потом храбрцами заделались? Да просто не хотела армия воевать. И не было своих, привычных генералов, чтобы их повести вперед за Сталина, потому что Сталин тот тех генералов сам же всех поистребил – полная дьяволиада! А когда, у армии всей на глазах, родных командиров родная партия объявляет врагами, то это не сильно повышает боевой дух. Это срывает с катушек. И не только армию, а еще и всё оккупированное население.

Потом пришли в себя, когда увидели, что коричневые совсем не лучше красных, да к тому же и чужаки, по-русски не говорят. Партизанщину какую-никакую наладили... Что? Европа? А что Европа! Она почему, думаете, такую рифму классическую имеет? А потому, что из нее выходит. То фашизм, то коммунизм – оба ж продукты её духовно-интеллектуальной жизнедеятельности. Самой теперь стыдно.

...Что Черчилль? Черчилль хитрый, он это всё понимал и сделал всё, как надо... Что – я?.. Нет, почему же, я наблюдал ту войну с удобной точки – из исправительно-трудового учреждения. Трудовая-передовая, так сказать, на марш хорошо ложится. Оттуда, кстати, лучше виден и общий масштаб события, и некоторые пикантные подробности его изнанки. Сами понимаете.

И у нас тоже там мобилизация шла, войска кой-какие набирались. Исправительные. И добровольные ведь, представляете? Ударные бригады, как теперь говорят. Кровью искупать вину, о которой пока еще и сообщить-то не сочли нужным...

Чужие земли да флажок над Рейхстагом – вот и всё, что купили такими кровями. Ну, хорошо, водрузили, отпраздновали. Мы там у себя тоже праздновали, хоть и враги. Ну и что? Чего же теперь веселуху ежегодную назначать? Праздник победы бывает один раз – в день, когда эта победа достигнута. Потом война отходит в историю, а ее солдаты одевают штатское и уходят вперед.

Воспомянуть о войне можно только трауром. И дома, среди своих. День Победы – это день траура, это по существу большие поминки, а на поминках увеселение не планируется. Оно бывает, и даже обязательно, но всегда – только спонтанно... А флаг над Рейхстагом, это, конечно, неплохо, но есть-то надо, как говорили талмудисты. А те-то зато лет уже через пять-

шесть начали есть нормально, а победители-то до сих пор всё никак. И скажите на милость, как это можно, чтобы победитель хуже ел, чем побежденный, какая тут логика?

Сравните уровни жизни, наш и Германии, и получите то же соотношение, что и по военным потерям, только с обратным знаком. А ведь Германия-то была разрушена побольше, чем Россия, которая успела всю индустрию эвакуировать, Сталин же с Берией были гениями по перевозкам за Урал – целые народцы туда перетаскивали, не то что пару-тройку заводиков – не даром же паровоз «И. С.» появился. А уж земельные-то ресурсы, да с прикрепленными к ним человечками – так и вообще...

И, смотрите, какая разница: немцы ведь покруче нашего оступились, но какое мужество у народа – проклясть свое прошлое, отрешиться! Отряхнуть старый прах и начать с чистого листа. Как человек – отрекается от себя и получает Второе Рождение. А без этого никогда не получит! Как сказано: «Нельзя заново родиться, если прежде не умереть». А у нас духу не хватило. Только трюндят на каждом шагу, как нам наша история дорога, как, не дай Бог, выпадет из нее какая-нибудь мерзятина, и при этом сами же целые куски выкидываем произвольно, только для нужной картинки!

И всё чего-то боятся. Сталина вынесли из Мавзолея – так, втихаря, и до смерти сразу перепугались. Как бы не вернулся, что ли, не выпорол? Суеверные мы, все-таки, язычники! И в рабство навечно теперь определены, после того как не смогли со своим фашистским прошлым достойно расстаться; больше-то уж долго случая такого удобного не представится.

Как в Библии прописано: всякому рабу один раз, на седьмой год его рабства, дается право стать свободным – ну то, что у нас было Юрьевым днем спародировано как бы – и если он от этого отказался, испугался, то пригвоздят его за ухо к дверному косяку, и будет он теперь уж до смерти самой рабом.

Что вы говорите? Немцам было некуда деться? Они были разбиты? Может быть. Тогда горе победителям: они уже вкусили свою радость, и дальше им ничего не светит. И блаженны все побежденные, ибо унижены, а Царствие Небесное оно униженным принадлежит!

На этом месте – как ждала! – вошла Полина с чайником, который давно уже свистел. Заварила в чашках кофе и закрыла дверь. Села обратно в кресло и сказала, с кривой улыбкой, как бы отвечая мне на мой незаданный вопрос:

– У нас любовь, не видишь разве, я просто торчу вся от него!

(«Ну вот, дошли и до проблемы „торчания“ – подумал я, – когда у полюбовничка уже скрип в коленках, очень даже актуально», и промолчал, не нашедши, как бы тут поддеть поизящнее.)

– То-то жалуется старичок, что «согреться» никак не может!

– Ну и пусть! А я – всё равно! Назло. Я здесь уже два месяца сижу. Безвылазно! – продолжала Полина.

– Безвылазно? А как же свирепая мамаша это переносит? И как ты вообще сюда попала, что у тебя общего с этим старикашкой?

– Ты будешь смеяться: Тунгуска. Она его племянница и здесь живет. Она и «общее», и через нее попала. Она же и мамашу нейтрализовала, уж не знаю, как.

Что? Тунгуска – племянница? Здесь живет? Не ровен час, придет домой и меня тут увидит? Этого мне только не хватало! Не много ли сразу – и Полина, и Тунгуска, и этот дядя смешной!

Тут как раз хлопнула сзади входная дверь, и появилось то единственное, что до того вечера я не рассчитывал больше увидеть когда-либо в своей жизни – Тунгуска. Кажется, мы с ней даже в то короткое время, когда ходили в один класс, никогда лично не разговаривали. Сначала было вроде не о чем, а потом я просто отворачивался, когда это возникало в поле зрения. А теперь – на тебе: я у нее в гостях! Милости просим! Хотелось сквозь землю провалиться.

Она, правда, повела себя самым деликатным образом – так, словно в комнате меня как бы и нет. Просто завалилась к Полине в кресло и тут же, без какой-либо словесной подготовки принялась ее бесстыже тискать своими цепкими пальцами с обгрызенными ногтями, увлеченно при этом сопя. Оставляя при этом уши для дядиных телефонных пространных реплик за дверью.

Она мгновенно вся покраснелась, веснушки слились с волосами в сплошное медное пятно на фоне книжной полки, и кажется, действительно перестала меня замечать. Полина жалко смотрела из ее объятий, как раненая антилопа, терзаемая тигром, пока та обеими лапами энергично шарила под сукном ее школьной формы – как будто там возились мыши.

Постепенно, однако, эта возня как-то упорядочивалась, движения «мышей» обретали определенную целенаправленность, что ли, если можно это так назвать. Измятое тело антилопы выпрямлялось, расправлялось, как распускающийся цветок в специальной киносъемке, в глазах появлялось какое-то странное выражение отстраненности и предвкушения постепенно приближающегося блаженства. Про меня она тут же, конечно, забыла, как не было.

Телефонная речь в коридоре тем временем стихла, и в открытой двери появился Дод. С тростью и в берете. И все старорежимное какое-то, вероятно, еще отцовское. Он подошел ко мне церемонно, протянул руку и пропел: «если не дождетесь моего возвращения, – кивнув в сторону кресла, – то имею честь. Знакомство было весьма приятно и обнадеживает на скорое продолжение».

Я почувствовал полную нелепость своего присутствия при этом порно-китче, мне стало вдруг как-то не по себе – то ли душно, то ли тошно – и я ушел, не дожидаясь, сам не зная чего. Или, на худой конец, пока другой мой счастливый соперник и старший товарищ, вернется от своего телефона. В любви, точнее в любовных хлопотах своих, девочки сразу взрослеют и становятся скучны. Надо убраться отсюда поскорее, чтобы память заменила мне эту глупую геронтофилку в лапах у безобразного вурдалака обратно, на прежнюю капризную гордячку, жившую в моей памяти, сводившую с ума с царственной невозмутимостью. Полина окликнула меня уже на чердаке, лицо пылало в темноте от смущения и недавней борьбы:

– Подожди! – в ее руке была какая-то бумажка. – На, возьми, а то с собой все ношу, ношу в надежде тебя где-нибудь повстречать. В воскресенье с папашей обедала, он дал. Как раз назавтра. Они там Роман топтать будут. И автора. А то ты все по нему вздыхал, вздыхал – пойди теперь посмотри, как они вздыхают.

Это был разовый пропуск в Дом Литераторов. Там в Белом Зале бывали «Среды», и на эту было назначено обсуждение Романа. Такие пропуска обычно бывали на одного, но проходили двое.

– А сама? – спросил я. – Ах да, ты же не читала!

– И это, – сказала она безо всякой неловкости, – и потом если что, то меня ведь и так пропустят. А сейчас ты же видишь, какие дела – не до того.

Я не понял, что она имела в виду под «делами», и высказал для приличия последнюю как бы отговорку:

– Мазепе своему дай.

– Ему запахло со всей этой совписовской падлой сидеть, – сказала она со спокойной гордостью, как будто не замечая обиженной иронии в моем тоне. – Так что бери, бери, не выкобенивайся, тебе же нужно.

Мне действительно было нужно, и я взял. Когда я уже повернулся, чтобы уходить впотьмах по чердаку, она сзади положила руку мне на плечо и произнесла, грустно и как-то взросло:

– Ты особо не грусти: ты же видишь теперь, что если б дошел со мной до конца, тебя бы ждало там горькое разочарование.

В голове шипела вся эта каша неожиданной информации об интимных проблемах моей возлюбленной. Надо было куда-то сесть, дать этому всему отстояться. Я прошел сквозь чугунные узоры решеток к бульвару. Мимо моего носа, чуть не срезав кончик, прогрохотала огненной полосой кобенроссыпь искр из-под дуги, похожая на хвост жар-птицы. Пассажиров я на такой скорости не заметил, только молодую кондукторшу в заднем вагоне; тоже, вероятно, навроде Клаши, «лимита».

Вспомнилась Додина телефонная беседа. Почему, собственно говоря, этот иностранец для русского народа употреблял местоимение «мы»? По какому праву? Он что, считает, что высидел это право в своих исправительных лагерях и «исправился» там до полной идентификации с нами, местными страдальцами? И потом, перед всем этим лагерным кошмаром он успел-таки и по свету погулять; и ведь совсем неплохо! Лет двадцать, думаю, если не больше; кому из нас светит такое хоть на десятую часть! Ему хоть было, за что платить, и он сам это знает. Так что пусть не примазывается, везунчик, к нашей скорбной доле! И девочек наших тоже пусть не... – тут я не нашел точного определения действия, которое злобно-ревниво вменял симпатичному старику, и мысль остановилась.

Перейдя трамвайные рельсы, я обогнул ограду бульвара и вошел в него сзади, со стороны Тургеневской площади через широкий проход, похожий на зев в корме океанского парома, куда поезда заезжают по рельсам. У нас была эпоха черной металлургии с металлическим паролем «Сталин», и весь этот, старорежимный еще, черный металл – чугунная ограда, стальные рельсы, чугунные ножки скамеек – хорошо вписался в тяжело-металлическую эстетику наших пятилеток; а может, в некотором смысле, ее и подготовил?

Когда я сел на скамейку, то почувствовал, что что-то твердое в кармане штанов – оказалось, Полинина четвертинка. Это я, значит, так весь кипел, уходя, что возмущенный разум действуя отдельно и по собственному своему усмотрению, помимо моей воли смахнул бутылку со стола.

На бульваре было свежо, но при этом тепло нежной теплотой майских сумерек. Скамейки утоплены в распухшую к ночи сирень. Фонари на столбах еще не горели, но луна уже взошла полным диском и гроздь сирени тускло мерцали в ее бледном свете.

Я отковырнул металлический хвостик и сдернул с горлышка серебристую «бескозырку» (лет через десять в рамках искусственного усложнения жизни пьющего большинства советских граждан, а также в целях экономии металла, этот невинный хвостик был снят с производства. «Бескозырка» ушла в историю, а народ, не знавший тогда еще пайкового «винта», закусил очередной раз губу).

Водку я пил до этого только два раза. Первый прошлой осенью с Полиной на открытии сезона в Пис-клубе и второй тоже при Полине в ноябре на стройке, куда нас гоняли всем классом убирать мусор к какой-то не очень круглой годовщине. А так – пил только с дедушкой Абрамихалычем на еврейский праздник пьянства под названием «Пурим» его обязательный «Кагор» с треугольными пирожками «Гомменташе», испеченными Кларой Марковной. Ну и еще в последнее время – разные «Массандры» с «Токаями» у одноклассниц, на их гламурных именинах. Ну и, разумеется, портвейн «777» и прочий разный шмурдяк на таких же вот скамейках, когда стемнеет, или в марте под веселую весеннюю слякоть, когда бульвар закрыт и сторожиха гоняет. Вчетвером из одного стакана, позаимствованного у «безрукого»; в автомате то есть.

В марте – это потому, что бульварные «душегубки» не справлялись, как и дворовые, с массами снега, и он, скопленный за зиму на газонах, таял естественным путем. От этого бульвары превращались в натуральное болото и закрывались на милость весеннему солнышку – оно эту грязь создало, подтопив снежок, ему теперь и высушивать.

Особливо это относилось к нашему Сретенскому бульвару, который весь лежал в некоторой впадине: зимой санки, ледяные дорожки и прочие молодецкие радости, а весной под-

линная российская распутица – пожалуй, и телега бы увязла, не то что прохожий! Поэтому все входы загораживались скамейками сиденьями кнаружи; это последнее, чтобы как-то сохранить скамейкам их функцию.

Сторожиха в эти дни не приходила, и смельчакам, которые туда проникали, предоставлялся некоторый островок свободы. И не где-то на обратной стороне Земли, как «красная Куба», где и таять-то нечему, а тут, в самом ее центре, рядом с домом! А так как бульвары те разомкнутым кольцом опоясывали город вокруг Кремля и Лубянки, то островков этих набирался целый архипелаг, вроде Курильского или Канарского.

А ещё ведь были разные отдельно лежащие парки и сады, культурные, детские, городские, районные, ленинские, горьковские, бауманские и прочие. А еще скверы, скверики – чему-чему, а уж слякоти-то было где разгуляться в оттепельной Москве пятидесятых годов! И если тебе, по случаю, пять или лучше шесть лет, и ты отчаянным рывком оторвался от няньки, и проник на пустой бульвар, и на ногах у тебя резиновые боты до колен, то можешь, как колесный пароход, работать ими по лужам, пока молодая нянька из деревни, сама обезумевшая от невесть откуда налетевших бесстыжих запахов весны, мечется там, за скамейками, ища, как бы и тебя достать, и ножек при этом не замочить. Кто думает, что совсем уж нет никакой свободы на этой несчастной шестой части суши – так это он просто мест не знает!

Так составила в сознании эта стойкая пара понятий – оттепель и слякоть – и из естественного климатической тональности перешла, как и всё в России, в общественно-политическую. Почему всякая наша оттепель оборачивается одной только слякотью и не более того, и полноценного лета за ней не приходит? Потому что приходит она сверху, как прежде снег на голову, и, как снег, скоро тает, растекаясь потоками грязи. И приходят тогда сторожа с метлами и сметают её в сточную канаву, пока она не успела еще спокойно напоить землю.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.